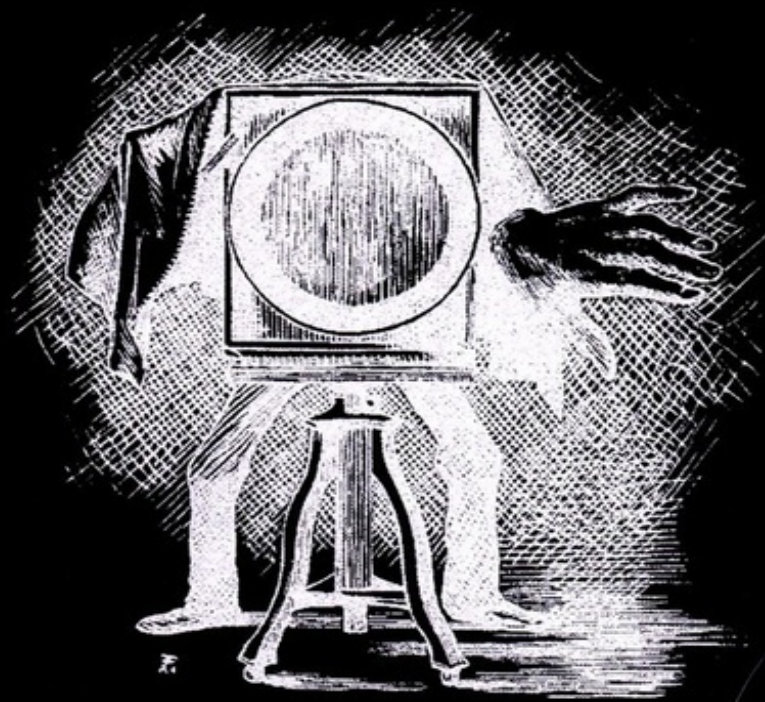


ΛΥΚΟΥΣ ΚΑΡΡΟΛΛ
Η ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ



Сочинения автора "Алисы в Стране Чудес", сказочника и фотографа Льюиса Кэрролла, о фотографах и фотографиях. Содержание: "Необычная фотография", "Легенда Шотландии", "Фотограф на съёмках" и "Гайавата фотографирует". Представлены разные переводы на русский.

- - [Содержание:](#)
 - [НЕОБЫЧНАЯ ФОТОГРАФИЯ](#)
 - [ЛЕГЕНДА ШОТЛАНДИИ](#)
 - [ФОТОГРАФ НА СЪЕМКАХ](#)
 - [ГАЙАВАТА ФОТОГРАФИРУЕТ](#)
 - [ДРУГИЕ ПЕРЕВОДЫ](#)
 - [ШОТЛАНДСКАЯ ЛЕГЕНДА](#)
 - [ШОТЛАНДСКАЯ ЛЕГЕНДА](#)
 - [ФОТОГРАФ НА ВЫЕЗДЕ](#)
 - [ФОТОГРАФ НА ВЫЕЗДЕ](#)
 - [ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ ФОТОГРАФА](#)
 - [ФОТОГРАФ НА СЪЕМКАХ](#)
 - [ГАЙАВАТА ФОТОГРАФИРУЕТ](#)
 - [ПРИЛОЖЕНИЕ](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
-

Содержание:

- Необычная фотография (Перевод Андрея Боченкова)
Легенда Шотландии (Перевод Андрея Москотельникова)
Фотограф на съемках (Перевод Юрия Данилова)
Гайавата фотографирует (Перевод Михаила Матвеева)
Другие переводы:
Шотландская легенда (Перевод Кирилла Савельева)
Шотландская легенда (Перевод Андрея Боченкова)
Фотограф на выезде (Перевод Людмилы Щекотовой)
Фотограф на выезде (Перевод Кирилла Савельева)
Выходной день фотографа (Перевод Андрея Боченкова)
Фотограф на съемках (Перевод Андрея Москотельникова)
Гайавата фотографирует (Перевод Андрея Москотельникова)

НЕОБЫЧНАЯ ФОТОГРАФИЯ

Перевод Андрея Боченкова

Недавнее удивительное открытие в Фотографии, связанное с ее прикладным использованием в умственной деятельности, превратило искусство написания романов в простейший механический труд. Изобретатель любезно разрешил нам присутствовать во время одного из своих опытов; но, поскольку мир еще не узнал об этом изобретении, мы вольны лишь изложить полученные результаты, скрыв все подробности, касающиеся применяемых химических реактивов и самого процесса.

Изобретатель начал с утверждения о том, что идеи самого слабого интеллекта, после отображения их на соответствующим образом обработанной бумаге, можно экспонировать до любой требуемой степени интенсивности. Выслушав наше пожелание начать с наиболее запущенного случая, он любезно пригласил из соседней комнаты молодого человека, который, судя по его виду, обладал самыми слабыми физическими и умственными способностями. На вопрос о том, что мы о нем думаем, мы откровенно признались, что он, похоже, не способен ни на что, кроме сна; наш друг от всего сердца согласился с этим мнением.

Когда машина была готова к работе, а между разумом пациента и объективом установилась месмерическая связь, молодого человека спросили, желает ли он что-нибудь сказать; на что он апатично пробормотал: «Ничего». Затем его спросили, о чем он думает, и в ответ, как и ранее, он сказал: «Ни о чем». На этом мастер объявил, что пациент находится в самом удовлетворительном состоянии, и сразу же приступил к опытам.

После того как бумага была проэкспонирована в течение необходимого времени, ее извлекли из аппарата и предоставили нам для осмотра; мы обнаружили, что она покрыта неясными и почти неразборчивыми символами. Более близкое рассмотрение выявило следующее:

«Вечер был нежен и полон невинности; зефир шептал в окруженной скалами долине, и несколько легких капель дождя охладили жаждущую землю. Медленной иноходью вдоль окаймленной примулами тропинки ехал благородного вида симпатичный юноша, державший в изящной руке легкую трость; лошадь грациозно двигалась под ним, вдыхая по пути аромат придорожных цветов; спокойная улыбка и томные глаза, восхитительно гармонизировавшие с прекрасными чертами всадника, свидетельствовали о спокойном течении его мыслей. Милым, хотя и слабым голосом он скорбно озвучивал тихие печали, омрачавшие его сердце:

*Меня прогнала, не сказав «спасибо»,
Однако волосы не стану рвать я, ибо
Без них я менее прекрасен был бы.*

*Ее поступок глуп и странен даже,
Ведь чувства нежные испытывала раньше;
Причина, верно, в перемене обстоятельств.*

Наступила недолгая тишина; лошадь споткнулась о камень, лежавший на дороге, и сбросила своего седока. Среди высохших листьев раздался треск; юноша встал; легкая ссадина на левом плече и пришедший в беспорядок галстук были единственными признаками, напоминавшими об этом незначительном происшествии».

— Этот отрывок, — заметили мы, возвращая бумагу, — явно написан в стиле «Водянистой» школы.

— Вы совершенно правы, — отвечал наш друг, — в его нынешнем виде и учитывая современные условия, разумеется, это произведение не будет иметь совершенно никакого спроса: однако мы увидим, что следующая степень проявления превратит его в образчик энергичной, или «реалистической» школы. — Окунув бумагу в различные кислоты, он снова вручил ее нам; теперь она предстала в следующем виде:

«Вечер носил обычный характер, барометр показывал «перемену погоды»; в лесу поднимался ветер, и начал падать небольшой дождь: плохие перспективы для сельского хозяйства. По верховой дороге приближался какой-то джентльмен, державший в руке крепкую узловатую палку и сидевший верхом на вполне работоспособном жеребце стоимостью примерно сорок фунтов; на лице всадника застыло деловое выражение, и он насвистывал по пути — предположительно, искал в голове рифмы, — а некоторое время спустя прочитал, удовлетворенным тоном, следующее сочинение:

*Ну ладно, пусть не состоялась сделка.
Так ведь сама ж осталась в девках,
Знать, дура: мыслит слишком мелко.*

*Подумаешь, велика честь!
Ей следовало бы учесть:
Полно девиц не хуже есть.*

В этот момент конь провалился копытом в дырку и опрокинулся; его всадник с трудом поднялся; он получил несколько сильнейших ссадин и сломал два ребра; прошло некоторое время, прежде чем он забыл этот неудачный день».

Мы возвратили данный текст, выразив свое глубочайшее восхищение, и попросили, по возможности, придать ему наибольшую степень резкости. Наш друг с готовностью согласился и вскоре представил нам результат, который, как он проинформировал нас, принадлежал «Эмоциональной», или Немецкой школе. Мы внимательно прочитали предложенный текст, испытывая при этом неопишуемые ощущения удивления и радости:

«Ночь была дико бурной; ураган неистовствовал по всему мрачному лесу; разъяренные струи дождя рвали стонущую землю. Безудержным галопом вниз напролом по крутому горному урочищу разящей молнией пронесся вооруженный до зубов рейтар; его жеребец рвался под ним бешеным галопом, изрыгая на лету искры из раздутых ноздрей. Сдвинутые брови всадника, вращающиеся глазные яблоки и стиснутые зубы выражали глубокую агонию его рассудка; странные видения маячили в его пылающем мозгу, в то время как с безумным криком он изрыгал из себя поток своей бурлящей страсти:

*Огонь и сталь! Надеждам всем конец!
Перевернись в могиле, проклятый мертвец!
Мой мозг — вулкан, душа — свинец!*

*Ее душа — кремень, а взгляд — шрапнель!
Не смог разбить я сердца цитадель!
Небытие есть мой удель!*

Наступила короткая пауза. О ужас! Его путь закончился в разверстой пропасти... Трах! — бах! — ах! — все закончилось. Три капли крови, два зуба и стремя — вот и все, что говорило о том, что здесь встретил свою судьбу безумный всадник».

Тут молодого человека привели в чувство и показали результаты работы его ума; он мгновенно упал в обморок.

Учитывая, что в настоящее время это искусство находится лишь в стадии становления, мы воздерживаемся от дальнейших комментариев в отношении сего чудесного открытия; но голова идет кругом, когда размышляешь, какие невероятные возможности открываются теперь перед силами науки.

Наш друг завершил демонстрацию различными дополнительными опытами, такими как переработка отрывка из Вордсворта в образчик сильной, безукоризненной поэзии: такой же эксперимент был проделан по нашей просьбе с отрывком из Байрона, но бумага сильно обгорела под воздействием пламенных эпитетов, произведенных применением концентрированных реактивов.

И последнее замечание: нельзя ли применить это искусство (мы ставим этот вопрос, взывая к соблюдению строжайшей тайны) — нельзя ли, спрашиваем мы, применить его к речам, произносимым в парламенте? Возможно, это лишь фантазия нашего воспаленного воображения, но мы все равно будем наивно цепляться за эту идею и надеяться на ее осуществление вопреки всему.

ЛЕГЕНДА ШОТЛАНДИИ

Перевод Андрея Москотельникова

Сим предлагаю правдивое и ужасное свидетельство касательно тех покоев замка Окленд Касл, что прозываются Шотландией, и событий, пережитых Мэтью Диксоном, Барышником, и одной Дамы, прозванной бывшими там Безодежной, и касательно того, как случилось, что никто нынче не отваживается ночевать в тех покоях (верно, из страха); все же эти события произошли в дни славной памяти епископа Пруда, и были записаны мною в год одна тысяча триста двадцать пятый, в месяце феврале, в день вторник и в дни последующие.

Эдгар Катуэллис.

В то время означенный Мэтью Диксон, доставив в оное место товары, те самые, что прельстили Милорда епископа, и приказав разместить себя на ночлег (что и было исполнено, причем он отужинал в охотку), отошел ко сну в одной из комнат тех покоев, что ныне зовутся Шотландией — откуда он и выскочил ополночь с таким громким криком, что всех перебудил, и люди, бегом к тому коридору кинувшись, столкнулись с ним, все еще кричавшим, но тут же ослабевшим и с ног свалившимся.

Тогда они перенесли его в гостиную Милорда и не без затруднений усадили в кресла, откуда он три раза сползал прямо на пол к изрядному присутствующим восторгу.

Но, приведенный в чувство различными крепкими напитками (в первую очередь джином), он вскоре поведал плаксивым тоном о следующих обстоятельствах — и слова его, тут же клятвенно заверенные девятью краснощеками и здоровенными крестьянами, живущими по соседству, я надлежащим образом здесь записал.

Привожу свидетельство Мэтью Диксона, Барышника, находясь в здравом уме и в возрасте за пятьдесят, хотя и сильно напуганный по причине того, что я сам увидел и услышал в оном замке касательно Видения Шотландии и обоих Духов, о чем и повествует данное свидетельство, как и о некоей странной Даме и о тех прискорбных предметах, о которых она поведала, вкупе с иными печальными мелодиями и песнями, сочиненными ею и другими Духами, и о хладе ужаса и сотрясении моих членов (произошедшем чрез тот сильный ужас), и о других любопытных предметах, особенно о Картине, которую в будущем сумеют-де создать в одну секунду и тогда кое-что воспоследует в одной подземной Камере (как было достоверно предсказано Духами), и о Мраке, вкупе с иными вещами, более ужасными, нежели Слова, и о той машине, которую люди тоже почему-то назовут Камерой.

Мэтью Диксон, Барышник, поведал, что он, плотно поужинав к ночи яблочным пирогом, мокрой курицей и прочими разносолами от великих щедрот Епископа (говоря так, он посматривал на Милорда и все пытался снять со своей головы шляпу, но не преуспел в том, так как не имел на себе никакой шляпы), отправился на боковую, где в течение длительного времени был осаждаем яркими и страшными снами. И что в своих снах он видел молодую Даму, облаченную не (как ему казалось) в платье, но в своего рода халат, а возможно, в пеньюар. (Здесь Кастелянша заявила, что ни одна дама не появится в таком виде перед мужчиной, даже во сне, а Мэтью ответил: «Хотел бы стать на вашу точку зрения», — и он в самом деле поднялся на ноги, но не устоял.)

Свидетель продолжал, что означенная Дама махнула туда-сюда большущим факелом, причем откуда-то раздался писклявый голосок «Безодежная! Безодежная!», и с ней, стоящей посреди комнаты, случились великие изменения: лицо ее делалось все более старческим, ее

волос седел, и приговаривала она самым что ни на есть печальным голосом: «Безодежная, как нынешние дамы, но уж в грядущих годах не будет у них нехватки платьев». При этом ее халат явственно изменялся, переходя в шелковое платье, собранное в складки вверху и внизу, однако не украшенное ничем таким. (Здесь Милорд, теряя терпение, стукнул его прямехонько по голове, повелев ему закругляться с рассказом.)

Свидетель продолжал, что означенное платье затем изменялось по фасонам, имеющим в грядущем войти в моду, что оно подгибалось в одном месте и подворачивалось в другом, открывая взору нижнюю юбку самого огненного оттенка, сказать прямо — густо-румяного, и при таком зловещем и кровожадном зрелище он застонал и заплакал. А тем временем ее юбка принялась вздуться в Громадность, которую описать уже свыше всяческих сил, чему способствовали, как он догадал, обручи, каретные колеса, надувные шары и прочее в том же роде, изнутри оную юбку вздыбившее. И что таким образом юбка заполнила всю комнату, распластав его самого по кровати до той минуты, как Дама соблаговолила отойти назад, как можно ближе к дверям, опалив на ходу его волосы своим факелом.

Здесь Кастелянша перебила его, вставив замечание, что, верно, не дама это была, а какая-то девка, и что с этими девками, заявляющимися среди ночи к мужчинам, надо иметь глаз да глаз, и что, верно, Мэтью Диксон сам не был достаточно осторожным. На это Мэтью Диксон сказал: «Сторожным? Действительно, на ста рожах сколько ж это будет глаз?» Кастелянша попыталась было опять встрять, но Милорд резким тоном предложил ей заткнуться.

Свидетель продолжал, что вследствие изрядного перепугу кости его (как он выразился) заколотились друг о дружку, и он попытался выпрыгнуть из-под одеяла, имея в виду сбежать. Все же на некоторое время он оказался недвижим, но не вследствие, как можно было бы предположить, полноты чувств — скорее тела. А все то время она этак заливисто выпевала отрывки старинных лэ, как говорит мастер Уил Шекспир^[2].

Здесь Милорд изволил любопытствовать, что именно она выпевала, утверждая, что уж он-то знает, какие лэ поются заливисто: «Мы у залива Трафальгар сдержали вражеский удар» и «В час прилива у залива мы присели выпить пива» — и он тут же вслух напел их, безбожно фальшивя, отчего невежи принялись скалить зубы.

Свидетель продолжал, что он, возможно, и мог бы исполнить означенные лэ с музыкой, а без подыгрывания не отваживается. В ответ на это его отвели в классную комнату, где находился музыкальный инструмент, называемый Гитара (он и впрямь являл собой как бы тару, только какую-то чудную и непонятно из-под чего — кривой деревянный короб с небольшим круглым отверстием), на котором молодая Леди, племянница Милорда, находившаяся в то время в означенной классной комнате (уча, как все мнили, свои уроки, но я полагаю, просто предаваясь безделью), с безбожным треньканьем проиграла музыку под его пение, и оба старались как могли, выводя мелодию, какую ни один живущий еще не слыхивал:

«Лоренцо в Хайингтоне жил
 (Ходил в хлопчатом кителе),
По крайней мере, в городке
 Его частенько видели.
Ко мне зашел и сел за стол —
 Как в воду он опущен был;
Его прошу поесть лапшу,
 А он в ответ: „Погуще бы“».

(Припев подтянули все присутствующие:)

«Котелок его с лапшой,
Значит, дурень он большой!»

Свидетель продолжал, что затем та Дама вновь оказалась прямо перед ним, облаченная все в тот же просторный халат, в котором он увидел ее в этом сне впервые, и степенным и пронзительным тоном поведала свою историю, вот какую.

История дамы

«Приносящими свежесть осенними вечерами вы могли бы заметить расхаживающую по мощеным дорожкам парка замка Окленд Касл молодую Даму церемонных и дерзких манер, однако не настолько, чтобы отпугивать встречных, даже можно сказать, очень красивую, — и это было бы гораздо вернее.

Эта молодая Дама, о несчастный, была я. (Тут я спросил ее, почему она считает меня несчастным, но она ответила, что это не имеет значения.) В те времена я увенчивала себя плюмажем, но не для пущей красоты, а для придания величия осанке, и страстно желала, чтобы какой-нибудь Живописец написал мой портрет, но от этих живописцев ожидаешь всегда таких больших — не способностей, конечно, — но расходов. (Тут я смиреннейше полюбопытствовал, а за какую плату творили тогдашние живописцы, но она надменно заявила, что интересоваться финансовой стороной дела — вульгарно, поэтому она не знает и знать не хочет.)

И вот случилось, что один Художник, благородный Лоренцо, оказался в этих краях, имея при себе чудесную машину, именуемую среди людей Камерой (самого бы его в камеру!); и с ее помощью понаделал множество картин, каждую за единое мановение времени, в течение коего человек может произнести лишь «Джон, сын Робина». (Я спросил ее, что такое «мановение времени», но она, нахмурившись, не ответила.)

Он-то и отважился изобразить меня; я только об одном его просила, чтобы получился портрет в полный рост, ведь только так и можно было выставить напоказ мою статность и благородство. Тем не менее, хотя он и понаделал множество портретов, но в этом не преуспел, ибо на одних была моя голова, но отсутствовали ноги, на других, захватывавших ноги, не помещалась голова, так что первые огорчали меня, вторые же служили источником веселья остальным.

По сему я справедливо негодовала, невзирая на то, что поначалу относилась к нему дружелюбно (хотя воистину был он туп), и часто с ожесточением била его по щекам, вырывая при этом клоки его волос, пока он своими криками стремился показать мне, что я делаю из его жизни невыносимое бремя. Уж этому-то я не столь сильно удивлялась, сколь искренне радовалась.

Наконец он вот до чего додумался: сделать портрет так, чтобы захватить юбку насколько возможно, а внизу просто-напросто приписать: «Следуют еще два ярда с половиною, а затем ноги». Но эта затея ни капельки мне не понравилась, поэтому я и заперла его в подвальной камере, где он пребывал три недели, становясь изо дня в день все тоньше и тоньше, пока его не начало колебать вверх-вниз, словно перышко.

И случилось, что в то самое время, как я однажды спросила его, может ли он теперь-то изобразить меня в полный рост, и он отозвался таким писклявым голосом, как у комарика, кто-то неосторожно отворил дверь подвала — и поток воздуха тут же поднял его и задул в щель на потолке, а я все ждала ответа, держа свой факел поднятым вверх, вплоть до того часа, как я тоже вся вылиняла в бесплотного духа и осталась там тенью на стене».

Тут Милорд и все общество поспешили в подвал, чтобы поглядеть на это удивительное зрелище, и когда они приблизились к означенному каземату, Милорд отважно выхватил свой меч, громко воскликнув: «Смерть!» (но кому и за что, не объяснил); затем некоторые поспешили внутрь, большая же часть оставалась позади, побуждая передних не столько примером, сколько бодрым словом, и наконец вошли все — Милорд последним.

Затем они отгребли от стены шлемы и прочую рухлядь и обнаружили упомянутого Духа, страшно сказать — еще виднеющегося на стене; и при виде этого жуткого зрелища такой крик вырвался у всех, какой не часто нынче уже услышишь; иные ослабели, а те добрым глотком пива уберегли себя от такой крайности, хоть и были чуть живы со страху.

А Дама тем временем выразилась следующим образом:

«Вот я здесь — и буду тут
Ждать времен, когда поймут,
Как же даму здешних мест
Взять и снять в один присест;
Эту даму — у нее
Имя, облик, все мое
(Время! Имя не храни, —
Буквы первые одни!) —
Снимет фотоаппарат
С головы до самых пят.
Тут исчезнет образ мой,
Не пугая вас собой».

Затем Мэтью Диксон ее спросил: «Зачем держишь ты поднятый факел?», на что она ответила: «В темноте нельзя снимать», — но ее никто не понял.

После этого тонкий голосок сверху пропищал:

«В замке Окленде, в подвале,
Ох, много лет
Я сижу, а вы не знали —
Страх, мрак и бред!
Не хватило мне temporis^[3]
Снять от pedis до temporis^[4]
Помешала temporale^[5]
Завершить портрет!»

(Хотели было слушатели подтянуть припев, да только латынь оказалась для них незнакомым языком.)

«Бессердечная и злая —
Ох, много лет
Не давала даже чая,
Нет, поверьте, нет!
Я последний грош отдам,
Чтобы не видеть этих дам;

К справедливости взываю —
Я хочу на свет!»

Тогда Милорд, вернув в ножны меч (который с той поры был возложен в особом месте в память столь великой отваги), приказал своему Виночерпию подать ему ковш пива, и когда тот исполнил, повинувшись взмаху руки (именно, как весело заметил Его Преосвященство, «взмахнула рука, а не *Прут*»), Милорд не откладывая его выпил. «За что пьем? — промолвил он. — Да ведь Пруд уже больше не Пруд, если он пересох».

ФОТОГРАФ НА СЪЕМКАХ

Перевод Юрия Данилова

Я разбит, ощущаю ломоту во всем теле, едва могу пошевелиться и с головы до пят покрыт синяками. Как я уже неоднократно говорил вам, о том, что случилось, я не имею ни малейшего представления, и приставать ко мне с расспросами бесполезно. Разумеется, если вы настаиваете, я могу прочесть вам отрывки из моего дневника с подробнейшим изложением разыгравшихся вчера событий, но если вы надеетесь найти в моих записках ключ к разгадке приключившегося со мной таинственного происшествия, то боюсь, что вас постигнет разочарование.

23 августа, вторник.

Говорят, что мы, фотографы, — племя слепых (если не хуже), что, глядя даже на самые прекрасные лица, мы приучаемся видеть лишь свет и тень, что мы почти утрачиваем способность восхищаться и чужды любви. Считаю своим долгом опровергнуть это распространенное заблуждение. Если бы мне только довелось сфотографировать юную девушку, в которой воплотился *мой* идеал красоты, а, главное, если бы ее звали... (не знаю почему, но имя Амелия я решительно предпочитаю любому другому слову английского языка), то не сомневаюсь, что мне удалось бы стряхнуть с себя холодное, философическое оцепенение, присущее моим собратьям по профессии.

И вот долгожданный миг настал. Не далее как сегодня вечером, проходя по Хеймаркет, я встретил Гарри Гловера.

Таббс! — заорал он, фамильярно похлопывая меня по спине. — Мой дядюшка жаждет видеть вас завтра на своей вилле с камерой и всей прочей утварью.

— Но я не знаком с вашим дядюшкой, — заметил я со свойственной мне осторожностью. (Если мне вообще свойственна какая-нибудь добродетель, то это спокойная, присущая истинным джентльменам осторожность.)

— Неважно, старина, зато он знает о вас все. Вы отправитесь завтра с первым поездом, захватите с собой все свои склянки и банки, поскольку на вилле у дядюшки вам предстоит обезобразить немало лиц, и...

— Нет, я не могу поехать, — возразил я весьма резким тоном, несколько испуганный объемом предлагаемой работы. Кроме того, мне не терпелось прервать Гарри, поскольку я решительно не выношу, когда в разговоре на людной улице употребляют столь вульгарные выражения.

— Жаль, вы бы не остались в накладе, — заметил Гарри как бы между прочим, — а моя кузина Амелия...

— Ни слова больше, — воскликнул я с жаром, — я еду!

Тут как раз подошел мой омнибус, я вскочил в него и с грохотом умчался прочь, прежде чем Гарри пришел в себя от изумления. Итак, то, о чем я так долго мечтал, свершилось. Завтра я увижу некую Амелию, и если... О судьба! Что ты предуготовила мне?

24 августа, среда.

Великолепное утро. Торопливо упаковал все необходимое, разбив в спешке, к счастью, лишь две бутылки и три склянки. До виллы «Розмари» я добрался к тому времени, когда ее обитатели собрались за завтраком. Отец семейства, мать, два сына школьного возраста, куча детишек поменьше и неизбежный младенец...

Но где мне взять краски, чтобы описать старшую дочь? Слова бессильны, лишь калотипия могла бы справиться с подобной задачей. Вид на ее носик был исполнен изящества, ротик,

возможно, несколько выигрывал в ракурсах, сокращавших его длину, но зато восхитительная игра полутонов на щечках заставляла забыть все изъяны, а яркие блики на подбородке (с точки зрения любого фотографа) не оставляли желать ничего лучшего. О, сколь прекрасным мог бы выйти ее фотопортрет, если бы судьба не... Но не буду забегать вперед!

Среди собравшихся за столом был некий капитан Фланаган.

Я вполне сознаю, что предыдущий абзац обрывается несколько неожиданно, но едва я дошел до него, как вдруг вспомнил, что этот идиот всерьез считает, будто он помолвлен с Амелией (с *моей* Амелией!), рука моя невольно остановилась, и я не смог продолжать дальше. Должен признать, что этот капитан обладал стройной фигурой, некоторые сочли бы его лицо красивым. Но чего стоят красивые лица и стройная фигура, если у человека нет мозгов?

Быть может, моя фигура самую малость полновата — я отнюдь не похож на этих жирафов из военных, но зачем мне описывать самого себя. Моя фотография (моей собственной работы) поведает миру достаточно сведений о том, как я выгляжу.

Завтрак, по-видимому, был превосходным, но я не замечал того, что ел и пил. Я жил лишь для Амелии. И вглядываясь в безукоризненные дуги бровей, в черты, словно изваянные резцом, я невольно сжимал кулаки (правда, при этом моя чашка кофе невзначай опрокинулась) и мысленно восклицал: «Я сфотографирую эту женщину или погибну!»

После завтрака начались съемки. Привожу краткий перечень снимков.

Снимок 1. Отец семейства. Его я хотел снять еще раз, но все присутствующие хором заявили, что и одного снимка вполне достаточно и что у главы дома «его обычное выражение лица». Если только отец этого семейства обычно не выглядит как человек, подавившийся костью и пытающийся смягчить муки агонии созерцанием кончика носа одновременно двумя глазами, то должен признаться, что в данном случае подобное мнение следует считать чрезмерно снисходительным.

Снимок 2. Мать семейства. Усаживаясь, она с жеманной улыбкой поведала мне, что «в юности обожала играть в спектаклях» и выразила пожелание сфотографироваться в позе своей «любимой шекспировской героини». После продолжительных лихорадочных размышлений над тем, кого она имеет в виду, я вынужден был оставить эту безнадежную затею, будучи не в силах припомнить ни одной шекспировской героини, которой была бы свойственна конвульсивная поза, исполненная энергии, в сочетании с полностью отсутствующим выражением лица и которой подходил бы костюм, состоящий из голубой шелковой мантии, клетчатого шарфа, перекинутого через плечо, жабо времен королевы Елизаветы и охотничьего хлыста.

Снимок 3 (17-я проба). Попытался снять младенца в профиль. Подождав, когда младенец перестанет сучить руками и ногами, открыл объектив. Маленький негодяй тотчас же откинул голову назад, к счастью, всего лишь на дюйм, так как голову остановил нос няньки. Пользуясь спортивной терминологией, можно сказать, что младенец вел борьбу «до первой крови». В результате на снимке появились два глаза, нечто, отдаленно напоминающее нос, и неестественно широкий рот. В соответствии с этим я назвал фотографию снимком анфас.

Снимок 4. Три младшие дочери, выглядящие так, словно им всем одновременно дали по лошадиной дозе лекарства и привязали друг к другу за волосы, прежде чем с их лиц изгладилось выражение, вызванное приемом чрезмерной дозы лекарства. Разумеется, вслух я этого не сказал, заметив лишь, что их группа «напоминает мне трех граций», но моя сентенция закончилась непроизвольно вырвавшимся стоном, который мне лишь с большим трудом удалось выдать за покашливание.

Снимок 5. Эта фотография была задумана как своего рода художественный триумф дня. Я имею в виду семейную группу, долженствующую, по замыслу родителей, сочетать в себе тепло домашнего очага с аллегорией.

Их мысленному взору открывалась такая картина: следуя наставлениям отца и личному руководству матери, дети увенчивают младенца цветами. Аллегорически это должно было изображать Победу, увенчивающую лавровым венком Невинность. Победе в выполнении столь возвышенной миссии помогают Решительность, Независимость, Вера, Надежда и Милосердие, в то время как Мудрость снисходительно взирает на них и одобрительно улыбается. Таким, повторяю, был замысел. Его воплощение с точки зрения любого непредвзятого наблюдателя допускало лишь одно толкование: ребеночку плохо. Мать (несомненно, имеющая превратное представление об анатомии человеческого тела) пытается облегчить его страдания, сняв венок с головы ребенка и приведя его в соприкосновение с грудной клеткой младенца, в то время как два других сына, видя, что их младший брат обречен на немедленную гибель, вырывают из головы младенца клоки волос на память о столь горестном событии. Две дочери, ожидая, когда им представится случай выдрать прядь волос из головы невинного братца, чтобы не терять времени, душат третью, а отец, доведенный до отчаяния необычным поведением семейства, пронзил себя кинжалом и пытается оцупью найти карандаш, чтобы сделать соответствующую запись о случившемся.

Все это время я никак не мог улучшить удобный случай, чтобы попросить Амелию позировать мне. Но во время второго завтрака такой случай, наконец, представился. Сделав несколько вводных замечаний о фотографии в целом, я повернулся к Амелии и сказал:

— Мисс Амелия, я надеюсь, вы окажете мне честь и позволите прийти к вам за негативом еще сегодня.

— Разумеется, мистер Таббс, — ответила Амелия с чарующей улыбкой. — Тут неподалеку есть домик, и мне бы хотелось, чтобы вы сфотографировали его после завтрака. Как только вы освободитесь, я буду к вашим услугам.

— Я думаю, что она подарит вам великолепный негатив, — вмешался в наш разговор этот ужасный капитан Фланаган. — Не правда ли, Мели, дорогая?

— Ничуть не сомневаюсь в этом, капитан, — ответствовал я с величайшим достоинством, но моя вежливость не произвела на это грубое животное никакого впечатления. Он разразился громким смехом. Амелия и я едва удержались, чтобы не рассмеяться над его непроходимой глупостью. С присущим ей тактом она попыталась замять неловкость и сказала этому медведю:

— Ну будет вам, будет, капитан! Не будьте так жестоки с ним. (Жестоки *со мной, со мной!* Да благословит тебя господь, Амелия!)

От столь нежданно свалившегося счастья чувства переполняли меня. Слезы стояли у меня в глазах, и я подумал:

— Мечта всей моей жизни свершилась! Я сфотографирую Амелию! Я был готов пасть на колени, чтобы возблагодарить ее, если бы мне не мешала скатерть и я не знал, как трудно будет потом подняться из столь неудобного положения.

Однако позже, когда завтрак подходил к концу, я все же улучил момент и дал волю обуревавшему меня чувству. Обратившись к сидевшей рядом Амелии, я довольно явственно пробормотал:

— Сердце, трепещущее в этой груди, жаждет...

Наступившая тишина вынудила меня замолчать на полуслове. Сохраняя полнейшую невозмутимость, Амелия спросила:

— Вы, кажется, сказали, что жаждете выпить еще чашечку чаю, мистер Таббс? Капитан Фланаган, не затруднит ли вас отрезать мистеру Таббсу еще кусочек пирога с вареньем?

— Пирога почти не осталось, — ответил капитан, едва не уткнув свою огромную голову в означенный предмет. — Может быть, мне передать ему всю тарелку, Мели?

— Нет, сэр! — прервал я капитана, бросив на него уничтожающий взгляд, но капитан лишь

ухмыльнулся и продолжал как ни в чем не бывало:

— Не скромничайте, Таббс, в кладовке хватит пирогов на всех.

Амелия с беспокойством посмотрела на меня, поэтому я усилием воли проглотил ярость и кусок пирога.

После завтрака, получив подробные указания относительно того, как пройти к домику, я прикрепил к камере накидку, позволяющую проявлять снимки на открытом воздухе, взгромоздил камеру на плечо и отправился в путь.

Проходя мимо окна, я увидел мою Амелию за рукоделием. Рядом с ней стоял этот идиот-капитан. В ответ на мой взгляд, исполненный неувыдаемой любви, Амелия с беспокойством заметила:

— Боюсь, что аппарат слишком тяжел для вас, мистер Таббс. Не нужен ли вам помощник, который бы носил камеру за вами?

— Или осел? — неуместно хихикнул капитан.

Я остановился и повернулся к окну, чувствуя, что достоинство Человека и свободу личности необходимо отстоять сейчас или никогда. Обращаясь к ней, я сказал лишь: «О, благодарю вас!» — и послал ей воздушный поцелуй. Затем, глядя в упор на идиота, стоявшего рядом с ней, я прошипел сквозь стиснутые зубы: «Мы еще встретимся, капитан!»

— Ничуть не сомневаюсь в этом, Таббс, — ответил непроходимый глупец. — Встретимся ровно в шесть, за обедом!

Дрожь охватила меня. Я изо всех сил попытался унять ее, но безуспешно. Водрузив камеру на плечо, я с угрюмым видом отправился дальше.

Не успел я сделать и двух шагов, как самообладание вновь вернулось ко мне. Я знал, что ее глаза неотрывно устремлены на меня, и зашагал по гравию своей прежней упругой походкой. Что значили в этот момент для меня все капитаны, вместе взятые? Могли ли они лишить меня душевного равновесия?

Холм, на котором стоял домик, находился примерно в миле от виллы «Розмари», и я изрядно устал и запыхался, прежде чем достиг конечного пункта своего путешествия, но мысли об Амелии придавали мне силы. Я выбрал наиболее выгодную точку съемки с таким расчетом, чтобы на снимке был виден не только дом, но и фермер с коровой, бросил нежный взгляд на видневшуюся в отдалении виллу и, прошептав: «Для тебя, Амелия!», снял крышку с объектива. Через 1 минуту 40 секунд я водворил крышку на место.

— Съемка закончена! — закричал я в неудержимом порыве, — Амелия, ты моя!

Торопливо, дрожа от нетерпения, я накрыл голову накидкой и приступил к проявлению. Деревья на снимке оказались неразлично размазанными. Нужно ли удивляться? Подул ветер и раскачал их немного. Впрочем, какое это имеет значение? Фермер? За время экспозиции он успел пройти ярд или два, и я с прискорбием должен признать, что на снимке у него было несколько рук и ног. Впрочем, и это не имеет значения! Назовем фермера пауком, сороконожкой, как угодно! Корова? Как мне ни хотелось бы, справедливости ради я должен признаться, что у коровы на снимке отчетливо можно было различить три головы, а такое животное, хотя оно выглядит несколько необычно, не слишком живописно. Зато домик на снимке нельзя было спутать ни с чем. Крыша его не оставляла желать ничего лучшего.

— Взвесив все достоинства и недостатки снимка, — подумал я, — Амелия, конечно, сумеет...

В этот момент мой внутренний монолог был прерван: кто-то похлопал меня по плечу скорее повелительно, нежели деликатно. Высвободившись из-под накидки (нужно ли говорить, что каждое мое движение было исполнено спокойного достоинства), я увидел незнакомца. Сложения он был плотного, одет весьма безвкусно, с отталкивающим выражением лица и в

зубах держал соломинку. Его компаньон обладал теми же отличительными приметами, выраженными еще более ярко.

— Молодой человек, — начал первый незнакомец, — вы вторглись в чужие владения. Убирайтесь отсюда, да поживее!

Нужно ли говорить, что я не обратил внимания на подобное замечание и, достав бутылку с гипосульфитом натрия, приступил к фиксированию негатива. Незнакомец попытался остановить меня. Я оказал сопротивление. Негатив упал и разбился. Что произошло потом, я не помню. У меня сохранилось лишь смутное ощущение, будто я кого-то ударил.

Если вы сумеете найти в приведенных выше отрывках из моего дневника какое-нибудь объяснение моему нынешнему состоянию, я, разумеется, не буду иметь ничего против. Но со своей стороны, как уже говорилось, я могу сообщить вам лишь, что я разбит, ощущаю ломоту во всем теле, едва могу пошевелиться, с головы до пят покрыт синяками и не имею ни малейшего представления о том, что со мной приключилось.

ГАЙАВАТА ФОТОГРАФИРУЕТ

Перевод Михаила Матвеева

В век подделок не имею я претензий на заслуги за попытку сделать то, что всем известно и несложно. Ведь любой в известной мере чуткий к ритму литератор сочинять часами мог бы в легком трепетном размере славных строк о Гайавате. Посему не стоит, право, обращать свое вниманье к форме маленькой поэмы, к заключенным в ней созвучьям — пусть читатель беспристрастный судит непредубежденно только поднятую тему.

С плеч могучих Гайавата
Фотокамеру из бука,
Полированного бука
Снял и сей же час составил;
Упакована в футляре,
Плотно камера лежала,
Но раздвинул он шарниры,
Сдвинул стержни и шарниры
Так, что ромбы и квадраты
Получились, словно в книгах,
Книгах мудрого Евклида.
На треногу все воздвиг он —
Заползал под темный полог —
Простирал он к небу руки —
Восклицал: «Не шевелитесь!» —
Сверхъестественное действие!
Вся семья пред ним предстала.
Все по очереди, чинно.
Перед тем, как сняться, каждый
Предлагал ему, как лучше,
Как получше выбрать позу.
Первым был отец семейства:
Он у греческой колонны
Пожелал расположиться,
У стола хотел стоять он,
У стола из палисандра.
Он держал бы свиток крепко,
Крепко левою рукою,
В сюртуке другую спрятав
(Так, как будто Бонапарт он),
Простирал бы взгляд в пространство,
Взгляд унылый дикой утки,
Побежденной злою бурей.
Героическая поза!
Только зря — не вышел снимок,
Ибо он пошевелился,

Ибо он не мог иначе.
Вслед за ним его супруга
Перед камерой предстала,
Разодетая в брильянты
И в атлас, в таком наряде
Краше, чем императрица.
Грациозно боком села,
Вся исполнена жеманства
И с огромнейшим букетом,
Большим, чем кочан капусты.
Так она, готовясь к съемке,
Все болтала и болтала,
Как мартышки в чаще леса:
«Так ли я сижусь, мой милый?»,
И «Хорош ли выйдет профиль?»,
«Не держать ли мне букетик
Чуть повыше, чуть пониже?»
Фотография не вышла.
Следом старший сын — блестящий,
Славный Кембриджа питомец,
Он хотел бы, чтобы образ
Эстетически стремился
В самый центр, к его булавке,
К золотой его булавке.
Он из книг усвоил это
Джона Рескина, который
«Современных живописцев»,
«Семь столпов архитектуры»
Написал и много прочих;
Но, возможно, он не понял
Смысла авторских суждений.
Как бы ни было, однако
Неудачным вышло фото.
Вслед за ним его сестрица
С пожеланьем очень скромным,
Чтоб на фото воплотился
Взгляд ее «прелестно-кроткий».
«Кротость», так она решила,
В том, что левым глазом смотришь
Влево искоса с прищуром,
Правый глаз потупив долу
И кривой улыбкой скрасив.
Но, когда она просила,
Не ответил Гайавата,
Словно он ее не слышал.
Лишь когда она взмолилась,
Улыбнулся как-то странно,

«Все равно», — сказал он хрипло
И умолк, кусая губы.
В этом не было ошибки —
Фотография не вышла.
То же с сестрами другими.
Самый младший сын последним
Перед камерой явился.
Был настолько он взъерошен,
Круглолиц и непоседлив,
Куртка так покрыта пылью,
Прозван сестрами своими
Был настолько он обидно —
Джонни-Папенькин сыночек
Или Джекки-Недомерок,
Что на фото, как ни странно,
По сравнению с другими
Получился он неплохо,
Пусть хотя бы и отчасти.
Напоследок Гайавата
Всю семью собрал толпою
(«Группой» — так сказать неверно),
И отличный сделал снимок,
На котором наконец-то
Вся родня удачно вышла.
Каждый был самим собою.
А затем они ругались,
Невоздержанно ругались,
Так как снимок был ужасен,
Как в каком-то сне кошмарном.
«Что за жуткие гримасы,
Очень глупые и злые —
Так любой нас сразу примет
(Тот, который нас не знает)
За людей весьма противных»
(Так, наверно, Гайавата
Размышлял не без причины.)
Все кричали раздраженно,
Громко, зло — так воют ночью
Псы бездомные, и кошки
Так визжат в безумном хоре.
И тогда его терпенье,
Прирожденное терпенье
Вдруг ушло необъяснимо,
А за ним и Гайавата
Всю компанию покинул,
Но покинул не бесстрастно,
Со спокойным, сильным чувством,

Чувством фотоживописца,
А покинул в нетерпенье,
В чрезвычайном нетерпенье,
Выразительно заметив,
Что не вынесет он дольше,
Неприятнейшую сцену.
Наспех он собрал коробки,
Наспех их увез носильщик,
На тележку погрузив их,
Наспех взял билет и сел он,
Сел на самый скорый поезд.
Так уехал Гайавата.

ШОТЛАНДСКАЯ ЛЕГЕНДА

Перевод Кирилла Савельева

Вот подлинная и ужасная история о комнатах в замке Окленд в Шотландии и о вещах, происходивших с торговцем Мэттью Диксоном, о присутствовавшей там некой Даме, именуемой Гонлесс, и о том, что в наши дни никто не дерзает спать там (в силу великого страха), каковые события происходили во дни блаженной памяти епископа Бека и были записаны мною в году тысяча триста двадцать пятом, в феврале месяце, начиная со вторника, и в другие дни.

Эдгар Катуэллис

Когда помянутый Мэттью Диксон привез свои товары в это место, мои господа похвалили их и распорядились, чтобы его хорошо угостили вечером (что вскоре произошло, и он отужинал с превеликим аппетитом) и уложили на покой в определенной комнате, теперь называемой Шотландской, откуда он выбежал в полночь с таким ужасным криком, что разбудил всех, и, пробегая по коридорам, продолжал кричать, пока не упал без чувств.

После чего его отнесли в чертог моего господина и с большим трудом усадили на стул, откуда он трижды упал на пол, к великому удовольствию всех присутствующих.

Но, будучи подкрепленным различными Крепкими Напитками (прежде всего Джинном), он спустя некоторое время изложил жалобным тоном нижеследующие подробности, впоследствии подтвержденные девятью крепкими фермерами, проживавшими поблизости, каковые свидетельства я тоже привожу в строгом порядке.

Свидетельство Мэттью Диксона, торговца сорока лет от роду, находящегося в здравом уме и твердой памяти, хотя и жестоко пострадавшего от Зрелищ и Звуков, испытанных мною в этом замке. Касаемо Видения Шотландии, двух Призраков, в нем присутствовавших, и некой странной Дамы, а также о прискорбных вещах, ею упомянутых, наряду с печальными песнопениями и мелодиями, созданными ею и другими Призраками, о холоде и тряске моих Костей (посредством великого страха) и о других вещах, приятных для знания, особенно о Картине, внезапно явленной моему взору, и о том, что произойдет потом (как истинно предсказано Призраками), о Тьме и прочих вещах, более ужасных, чем Слова, и еще о том, что люди называют Химерой.

Торговец Мэттью Диксон свидетельствует: «Хорошо отужинав вечером молодым гусем, пирогом с мясом и другими Яствами, поданными к столу по великой милости Епископа (при этих словах он посмотрел на моего господина и попробовал снять шляпу перед ним, но не смог, ибо на голове у него не было шляпы), я отправился в опочивальню, где долгое время был осаждаем жестокими и ужасными Сновидениями. В одном сне я увидел молодую Даму, одетую не в Платье, а в некую Накидку, быть может, в широкий плащ». (Здесь главная Горничная подтвердила, что ни одна Дама не станет носить такое, и он ответил: «Я признаю свою ошибку», — и даже попытался встать, но не смог.)

Свидетель продолжил: «Помянутая Дама размахивала большим Факелом, а тонкий голос выкрикивал „Гонлесс! Гонлесс!“ ^[7] И вот, когда она стояла посреди комнаты, с ней произошла великая Перемена: ее облик становился все более старым, волосы седели, и все это время она говорила самым печальным голосом: „Ныне без платья, как бывает с Дами, но в грядущие годы они не будут испытывать недостатка в платьях“. При этом ее накидка медленно растаяла и превратилась в шелковое Платье, которое шло складками вверх и вниз и разлеталось в стороны».

(Тут мой господин, потеряв терпение, стукнул его по голове, чтобы он поскорее заканчивал свою историю.)

Свидетель продолжил: «Помянутое платье стало меняться на разный манер, заворачиваясь вверх здесь и там и открывая нижние юбки всяческих оттенков, даже алого цвета, при каком-то зловещем и кровавом зрелище я застонал и залился слезами. Тут последняя юбка раскрылась в Необъятность за пределами человеческой способности повествовать об этом, наполненную Обручами, Тележными Колесами, Шарами и тому подобными вещами. Эти видения заполнили всю комнату, придавив меня к постели, пока она не удалась, опалив своим Факелом мои волосы по пути. Потом я, пробудившись от сна, услышал шелест тростника и увидел свет». (Здесь Горничная перебила его, воскликнув, что видела пламя свечи с тростниковым фитилем в той самой комнате, и сказала бы еще больше, но мой господин остановил ее и строго велел ей молчать ради спасения ее души.)

Свидетель продолжил: «Несмотря на всепоглощающий Страх, заставляющий мои кости дрожать в суставах, я попробовал встать с постели и обрести покой. Однако я был слаб скорее телом, а не сердцем, а потому мне довелось выслушать отрывки старинных баллад мастера Уильяма Шекспира в ее исполнении».

Мой господин поинтересовался, что это за баллады и может ли он исполнить их. Торговец отвечал, что помнит лишь две под названием «В Трафальгарской бухте, парень // Мы французам дали жару» и «В подветренных водах Бискайского залива», каковые мелодии он напел, безбожно фальшивя под улыбки собравшихся.

Свидетель продолжил: «Помянутые баллады я могу напеть под музыку, но без аккомпанемента у меня ничего не получится». Тогда его препроводили в аудиторию, где стоял Музыкальный Инструмент под названием «пэан-о-форти» (в том смысле, что он имел сорок извлекаемых Нот и был Пэаном, или Триумфом Искусства), где две юных Дамы, племянницы моего господина, которые жили здесь (и якобы брали музыкальные уроки, хотя, полагаю, больше маялись от безделья), устроили громкую Музыку, под которую он пел изо всех сил, выводя доселе неслыханные Напевы.

Лоренцо жил в Хей-Хайтоне,
А может быть, поблизости,
Носил жакет из канифаса,
Какие уж тут низости!
Вот он пришел ко мне на чай,
Не проронил ни слова,
Я маслом хлеб ему намазал —
Ну что же тут такого?

(Усердное вступление хора из всех присутствующих.)

У простофили
Глупая башка,
Мне эта лапша не по нраву!

Свидетель продолжил: «Потом она явилась облаченной в такую же свободную Накидку, когда я впервые увидел ее во сне, и проникновенным голосом поведала мне свою Историю».

История дамы

«Свежим осенним вечером можно было увидеть молодую Даму, гуляющую в саду у замка Окленд, чопорную и надменную на вид, но обликом не лишенную приятности и даже красивую,

если бы ее черты были более короткими.

Этой молодой Дамой, о несчастный, была я. (Тут я спросил, почему она считает меня несчастным, и она ответила, что это не имеет значения.) В то время я кичилась не столько моей красотой, сколько статностью Фигуры, и всем сердцем желала, чтобы какой-нибудь Художник написал мой портрет, но их запросы были слишком высокими — полагаю, не в мастерстве Живописи, а в цене. (Тут я самым смиренным образом поинтересовался, какую цену запрашивали Художники в то время, но она высокомерно ответила, что денежные дела — это вульгарная тема и она об этом ничего не знает и знать не хочет.)

Так случилось, что некий Художник по имени Лоренцо приехал в эти края и привез с собой чудесную машину под названием Химера (то есть баснословная и совершенно невероятная вещь), с которой он изготовлял множество картин, каждую за один бой часов или за время, пока человек успеет сказать „Джон, сын Робина“. (Я спросил ее, что такое один бой часов, но она нахмурилась и не ответила.)

Он взялся изготовить мой портрет, от которого я требовала одного: чтобы меня изобразили в полный рост, ибо никак иначе статность моей Фигуры не могла быть явлена миру. Но, хотя он сделал много картин, все они оказались негодными, ибо некоторые, начинаясь от Головы, не доходили до Ног, а другие, изображающие Ноги, оказывались без Головы; если первые были огорчением для меня, то Последние были посмешищем для других.

Эти вещи вызывали у меня справедливый гнев, и если сначала я была дружелюбна к нему (хотя он был бестолковым и унылым на вид), то потом часто била его по Ушам и выдираала из его Головы пряди Волос. На это он издавал Вопли и говорил, что я превратила его жизнь в тяжкое бремя; сие не вызывало сомнений и доставляло мне большое удовольствие.

Наконец он предложил изготовить Картину, вмещающую такую часть юбки, какая только сможет войти, и сделал Примечание следующего рода: „Портрет: сверху два с половиной ярда, потом Ноги отдельно“. Но это ничуть не удовлетворило меня, а потому я заперла его в Погребе, где он оставался три недели, ежедневно становясь все тоньше и тоньше, пока не стал плавать по воздуху вверх и вниз, как Перышко.

В определенный день, когда я спросила его, сделает ли он теперь мое изображение в полный рост, он ответил мне тонким жалобным Голосом, словно Комар, но тут кто-то открыл Дверь и его вынесло Сквозняком в трещину на Потолке, а я осталась ждать его, подняв свой Факел, и стояла до тех пор, пока тоже не превратилась в Призрак, однако прилипший к Стене».

Потом мой господин и его спутники спустились в Погреб. Увидев это странное зрелище, мой господин вытащил свой Меч с громким криком «Смерть!» (хотя так и не объяснил, кого или что он имел в виду). Некоторые вошли внутрь, но многие остались сзади, подгоняя тех, кто был впереди, не столько своим примером, сколько ободряющими Словами, однако в конце концов все вошли в Погреб; мой господин был последним.

Они отодвинули от стен Бочки и другие вещи и обнаружили упомянутого Призрака, ужасного на вид, однако сохранившегося на Стене; от жуткого этого зрелища поднялись такие Крики, какие в наши дни редко можно услышать. Многие лишились чувств, тогда как другие спаслись от этого Бедствия большими глотками Пива, однако и они были еле живы от Страх.

Тогда Дама обратилась к ним на такой манер:

Все внимайте моей воле,
Я пребуду здесь, доколе
Даму этого удела,
Схожую лицом и телом,

Не фотографируют как надо,
Во весь рост открытой взгляду;
Тогда сгину я опять
И не буду вас пугать.

Тогда помянутый Мэттью Диксон обратился к ней и спросил: «Почему ты высоко держишь этот Факел?» — на что она ответила: «Свечи дают свет», — но никто ее не понял.
Потом наверху зазвучал тонкий Голос:

В погребке замка Окленд
Давно, очень давно
Заперли славного парня,
Горе ему суждено!
Снять ее в полный рост —
Как дотянуться до звезд;
Tempore (так я и сказал ей),
Practerito!^[8]

(К этому Хору никто не смог присоединиться, ибо Латынь была для них неизвестным Языком.)

Она была очень жестока,
Давно, очень давно,
Меня уморила до срока,
Хоть в погребке было вино.
Ведь я из Шотландии мог убежать,
Последний медяк за это отдать,
Но меня учили честно играть, —
Не поминайте же лихом, друзья,
А помяните добрым глотком!

Тогда мой господин, отложив свой Меч (который впоследствии был повешен на стене в память о столь великой Храбрости), приказал Дворецкому принести ему Кувшин Пива, каковой Кувшин он выпил за один присест и велел принести еще. Ибо, по его собственным словам: «Ручей уже не Ручей, если он Высохнет».

ШОТЛАНДСКАЯ ЛЕГЕНДА

Перевод Андрея Боченкова

Присягаю, что сие есть подлинное и ужасное описание касательно покоев Оклендского замка, прозываемых Шотландией, и всех вещей, пережитых там Мэтью Диксоном, торговцем, и некоей дамой, прозываемой Гонлесс, или «Лишенной Платья», в тех покоях обнаруженной, и того, как никто в течение этих дней не спал там (вероятно, из-за страха), и что все указанные вещи случились во времена достопамятного епископа Бека, и что сие записано в год одна тысяча триста двадцать пятый месяца февраля в некий вторник и другие дни.

Эдгар Кутвеллис

Итак, указанный Мэтью Диксон доставил товары в сие место по повелению моих господ, которые наказали также, чтобы его славно угостили (что было исполнено, причем поужинал он с большим аппетитом) и уложили спать в некой комнате замка, ныне прозываемой Шотландией. Откуда в Полночь он выбежал с таким великим Криком, что разбудил всех людей, которые спешно побежали в эти Покои и встретили его так кричащим, в каковой момент он тут же лишился чувств.

Тогда его перенесли в гостиную Милорда и с большими хлопотами водрузили на Стул, откуда он три нескольких раза падал на пол, к большому восхищению всех присутствовавших.

Но, будучи подкреплен различными Крепкими Напитками (и, главное, Джинном), он немного погодя сообщил жалобным голосом следующие далее подробности, в полное подтверждение чему присяглись девять работающих и отважных земледельцев, которые жили неподалеку, и его свидетельство я здесь надлежащим образом изложу.

Показания Мэтью Диксона, торговца, находящегося в здравом уме и более Сорока Лет От Роду, хотя и здорово напуганного по причине Зрелищ и Звуков в этом Замке, пережитых им, касательно Видения Шотландии и Призраков, оба из которых там содержатся, и о некоей странной Даме и о жалобных вещах, ею молвленных, с другими печальными мелодиями и песнями, ею и другими Призраками придуманными, и о заходении и дрожании его Костей (по причине сильно великого ужаса), и о других вещах, которые зело приятно узнать, главным образом о Картине, которую впоследствии следует запечатлеть, и о том, что после того воспоследует (как доподлинно предсказано Призраками), а также о Тьме и других вещах, более ужасных, чем Слова, и о том, что Люди называют Химерой.

Мэтью Диксон, торговец, показал под присягой: «что он, хорошо поужинав в течение Вечера Молодым Гусем, Пирогом с Мясом и другими приправами, поданными от великой щедрости Епископа (молвя это, он посмотрел на Милорда и попытался стянуть с себя шапку, но потерпел неудачу, ибо сего Убора на его голове не оказалось), отправился в постель, где в течение долгого времени его тревожили жестокие и ужасные Сны. Что он увидел в своем сне молодую Даму, облаченную (как ему показалось) не в Платье, но в некоего рода Капот, с различного рода Опорками. (В этом месте горничная заявила, что ни одна Дама не станет надевать Опорки, и он ответил: «А я стою на своем», и, в самом деле, поднялся со стула, но удержаться на ногах не смог.)

Свидетель продолжил: «что указанная Дама махала взад-вперед Огромным Факелом, в каковой момент тонкий Голос заверещал: «Без платья! Без платья!», и как она стояла посреди пола, так и стряслась с ней большая Перемена, и Цвет ее Лица стал восковеть и делаться все Старее и Старее, а Волосы ее седеет, и все это время она говорила самым печальным Голосом:

«Без платья теперь, как Дамы ходят: но в грядущие годы недостатка в платьях у них не будет», в каком месте ее Капот, будто начал медленно таять, превращаясь в шелковое Платье, которое было собрано складками вверху и внизу, а в остальном сидело как влитое в нужных местах». (Здесь Милорд, придя в нетерпение, дал ему оплеуху и велел тотчас же заканчивать свою историю.)

Свидетель продолжил: «что указанное Платье затем стало меняться по разным Модам, которые будут в Грядущем, сворачиваясь и подбираясь в том либо ином месте, открывая взгляду нижнюю юбку самого огненного Оттенка, даже Пурпурную на вид, при каком зловещем и кровожадном зрелище он одновременно застонал и заплакал. Что наконец юбка разрослась до Безграничности, описание коей неподвластно Человеку, с помощью (как он предположил) Обручей, Каретных Колес, Воздушных Шаров и тому подобного, которые поддерживали материю и поднимали ее вверх изнутри. Что Платье сие наполнило все Помещение, придавив его к кровати, пока Дама вроде не удалилась, по дороге припалив ему волосы своим Факелом».

«Что он, пробудившись от таких Снов, услышал свистящий шум, похожий на ветер в тростниках, и увидел Свет». (В этом месте Горничная перебила его, закричав, что в этой самой комнате действительно была оставлена для света тростниковая свеча, и наговорила бы еще больше, но тут Милорд осадил ее и повелел заткнуться, сим тактично дав понять, что ей следует попридержаться свое помело.)

Свидетель продолжил: «что, будучи зело напуганным всем этим, в то время как все его Кости (как он сказал) дрожали, он попытался выпрыгнуть из кровати и таким образом скрыться. Но он немного замешкался, и не потому, как можно подумать, что крепок Сердцем, а скорее Телом; в какой момент Дама начала напевать обрывки старых баллад, как говаривал мастер Вил Шекспир. (В этом месте Милорд спросил его, каких именно, велел ему их спеть, и сказал, что ему известны только две баллады, в которых есть «обрывки»: «От парусов французских остались лишь обрывки» и «Ловя обрывки вражьих разговоров, на ус мотал, чтоб доложить потом», каковые Песни он затем и начал напевать, хотя и фальшиво, из-за чего некоторые стали улыбаться.)

Свидетель продолжал: «что он, возможно, смог бы спеть указанные баллады под Музыку, но без аккомпанемента не отважится». После этих слов его отвели в классную комнату, где находился Музыкальный Инструмент, прозываемый Фортель-Пьяно (означающий, что на нем можно выделять различные пьяные фортели), на котором две молодые дамы, Племянницы Милорда, которые проживали там (научаясь, как они полагали, Урокам; но, как мне доподлинно ведомо, немало бездельничая), сильно стучая по клавишам, сопровождали его пение некоей Музыкой, стараясь изо всех сил, дабы Мелодии были таковыми, каковые ни один Человек дотоле не слыхивал.

Жил наш Лоренцо в Хайингтоне
(И спал он в хижине из бревен),
Но, если и не точно там —
Точнее вам он скажет сам, —
То уж совсем поблизости.
Пришел ко мне он раз на чай —

Однако вечер весь молчал,
Пока я не спросил его:
«Ты любишь хлеб без ничего?»
Тут он ответил: «С маслом».

Припев, к которому все присутствующие с пылом присоединились):

У глупой лапши
Лапшинные мозги,
Такую лапшу ненавижу, не люблю.

Свидетель продолжил: «что она затем явилась перед ним, облаченная в тот же самый свободный Капот, в коем он впервые узрел ее в своем Сне, и ровным и пронзительным голосом поведала свою Историю в нижеследующем виде».

История дамы

«Нежным осенним вечером можно было увидеть, как в одном месте, неподалеку от Оклендского замка, фланировала молодая Дама, отличавшаяся холодными и самоуверенными манерами, хотя и недурной наружности, — можно было бы сказать, в определенной степени прекрасная, если бы это не было неправдой.

Этой юной Дамой, о Несчастный, была я» (после каковых слов я потребовал объяснений, на каком основании она считает меня несчастным, и она ответила, что это неважно). В те времена я кичилась тем, что достигла вершин не столько в красоте, сколько в статности Фигуры и чрезвычайно желала, чтобы какой-нибудь Художник запечатлел бы мой портрет; но они были недоступны, не в том смысле, что были такими мастерами, а просто слишком много запрашивали. (Тут я самым скромнейшим образом поинтересовался, какие цены запрашивали тогдашние Художники, но она высокомерно ответствовала, что денежные вопросы вульгарны, что она не знает, нет, ее это не интересовало.)

И вот случилось, что некий Художник, досточтимый Лоренцо, прибыл в Эту Местность, имея с собой чудесную машину, называемую людьми Химерой (что означает сказочную и целиком невероятную Вещь), с помощью которой он сделал много картин, каждую за единый момент времени, за какой Человек может и оглянуться не успеть. (Я спросил ее, какой это может быть момент Времени, чтобы человек не успел оглянуться, но она нахмурилась и ничего не ответила.)

Именно он и сделал мой Портрет, от которого мне требовалась в основном одна вещь: что он должен быть в полный рост, ибо никаким иным образом не была бы видна моя Статность. Тем не менее, хотя он сделал много Портретов, в этом отношении они были неудачны: ибо одни, начинаясь с Головы, не захватывали ноги, другие, захватывая ноги, не захватывали головы; из каковых первые были горем для меня, а вторые — вызывали Смех у других.

На эти вещи я справедливо сердилась, при том, что сначала была с ним дружелюбна (хотя, по правде сказать, он был скучен), и часто сильно шлепала его по Ушам и выдирала из его Головы некоторые Пряди, по поводу чего он кричал и, как правило, говорил, что я сделала жизнь для него в тягость, в чем я не столько сомневалась, насколько этому радовалась.

В конце концов, он посоветовал, что нужно сделать Портрет так, чтобы вместился такой кусок юбки, какой только может вместиться, и в отношении этого поместить внизу Надпись такого содержания: «Предмет, два с половиной ярда длиной точно такой же, как и выше, а затем Ноги». Но это ни в коем Случае меня не удовлетворяло, и посему я заперла его в Подвале, где он оставался три Недели, с каждым днем становясь все хуже и хуже, пока, в конце концов, не начал взмывать вверх и опускаться как Перо.

И случилось так, что в то время, когда я спросила его однажды, запечатлеет ли он меня теперь в полный рост, и он отвечал мне тоненьким стенающим Голоском, будто Комар, кто-то

случайно открыл Дверь — и его подняло вверх Сквозняком и утащило в Трещину в Потолке, и я осталась ждать его, держа над Головой свой Факел до тех пор, пока и сама не превратилась в Призрака, приклеившись к Стене».

Тогда Милорд и Компания поспешили в Подвал, дабы увидеть странное зрелище, прибыв в какое-то место, Милорд храбро вынул свой меч, громко закричав: «Смерть!» (хотя кому или чему, он не объяснил); затем некоторые вошли внутрь, но большая часть заробела, подбадривая тех, кто был впереди, не столько своим примером, сколько Словами приободрения; все же наконец все вошли, и последним Милорд.

Затем они убрали от стены Винные Бочки и другие вещи и обнаружили упомянутого Призрака, в жутком состоянии, однако дошедшего до наших дней, при каком ужасном зрелище поднялись такие вопли, каковые в наше время редко или вообще никогда не услышишь; некоторые упали в обмороки, некоторые спаслись от этой Крайности посредством больших порций Пива, хотя и они были едва живы от Страха.

Затем Дама заговорила с ними таким образом:

Здесь я живу и буду обитать,
И образ мой здесь будет представлять,
Пока какая-нибудь здешняя девица,
С которой у нас одинаковы имена и лица
(Хотя имя мое останется в тайне,
Мои инициалы вы узнаете заранее),
Не будет сфотографирована как надо —
Чтобы были видны и туфли, и на губах помада, —
Тогда мое лицо исчезнет навсегда,
И никогда не испугает вас — да, да!

И тогда сказал ей Мэтью Диксон: «Для чего ты держишь сверху этот Факел?», на что она ответила: «Свечи Дают Свет», но никто ее не понял.

После этого откуда-то сверху донесся тоненький Голосок:

В подвале Оклендского замка —
Давным-давным-давно —
Меня закрыла интриганка,
Здесь мокро и темно!

Снять ее с головы до ног,
Как ни старался, я не смог.
Tempore (я говорю ей)
Practerito!

(К этому Припеву никто не отважился присоединиться, поскольку Латынь для них была Языком незнакомым.)

Она была сурова, безжалостна была —
Давным-давным-давно,
Морила меня голодом — ни хлеба, ни овса —
Ей было все равно!

Отдал бы я последний пенни,
Чтобы сбежать из Шотландии этой, —
Да, люди, жизнь несправедлива,
Налейте мне, друзья!

Затем Милорд, отложив свой Меч (который был впоследствии водружен на стену в память о такой великой Отваге) , приказал своему Дворецкому принести ему тотчас же Сосуд с Пивом, из какого Сосуда он хорошенько подкрепился*: «Если уж суждено нам пережить такое испытание, — сказал он, — то должно испить сию Чашу до дна».

ФОТОГРАФ НА ВЫЕЗДЕ

Перевод Людмилы Щекотовой

Я потрясен, у меня все болит — там ссадина, тут синяк. Сколько раз повторять: не имею никакого понятия, что стряслось, и нечего донимать меня расспросами. Ну хорошо, могу прочесть вам отрывок из дневника, где дан полный отчет о вчерашних событиях.

23 августа, вторник.

А еще говорят, будто фотографы — все равно что слепцы: для нас, мол, самое хорошенькое личико — лишь игра света и теней, мы-де редко восхищаемся искренне, а полюбить просто не способны. Это заблуждение, которое очень хотелось бы развеять. Только бы найти такую молодую леди, чтобы ее фотография отразила мой идеал красоты, и хорошо бы, чтоб ее звали... (ну почему, скажите на милость, имя Амелия влечет меня сильнее, чем любое другое?) — вот тогда, я уверен, мою холодность и философское безразличие как рукой снимет.

Похоже, долгожданный день настает. Сегодня вечером на улице Хеймаркет я столкнулся с Гарри Гловером.

— Таббс! — заорал он, хлопая меня фамильярно по спине, — мой дядя зовет тебя завтра к себе на виллу вместе с ка-мерой и со всем имуществом!

— Но я не знаю твоего дядю, — отвечал я со своей обычной осторожностью. (Если у меня вообще есть достоинства, то это спокойная, приличествующая джентльмену осмотрительность).

— Неважно, старик, зато он про тебя все знает. Поедешь первым утренним поездом и прихвати все свои бутылочки с химикалиями — там тебя ждет целая куча лиц, достойных обезображивания, а еще...

— Не смогу, — оборвал я его довольно грубо: меня встревожил объем предлагаемой работы.

— Ну что ж, они будут сильно огорчены, только и всего, — сказал Гарри с непроницаемым лицом, — и моя двоюродная сестричка Амелия...

— Ни слова больше! — вскричал я в восторге. — Еду!..

И тут как раз подошел мой омнибус, я вскочил на подножку и умчался под грохот колес, прежде чем он опомнился после столь крутой перемены моего настроения. Стало быть, решено, завтра я увижу Амелию!

24 августа, среда.

Чудесное утро. Собираясь в спешке, я разбил только две бутылочки и три склянки. На виллу «Розмари» я явился, когда все сидели за завтраком. Отец, мать, два сына-школьника, целый выводок дошколят и неизбежный беби.

Но как описать старшую дочь? Слова бессильны, только фотопластинка могла бы передать ее красоту. Носик прекрасных пропорций (ротик, пожалуй, можно бы чуточку уменьшить), зато изысканные полутона щек кого угодно заставили бы забыть о любых недостатках, а уж световые блики на подбородке были само совершенство. О, какой бы она вышла на снимке, если бы злой рок... но я опережаю события.

Там был еще некий капитан Флэнеген...

Отдаю себе отчет, что предыдущий абзац получился коротковат, но мне Вдруг припомнилась чудовищная нелепость: этот идиот искренне верил, что Помолвлен с Амелией (с моей Амелией!). Я задохнулся от ярости и не мог продолжать описание. Готов согласиться, что этот тип хорошо сложен и довольно смазлив, но на что годны лицо и фигура без мозгов?

Сам я, пожалуй, не очень-то крепкого сложения, да и выправкой никак не похожу на военных жирафов — но к чему описывать себя самого? Моя фотография (собственной работы) будет вполне достаточным и неоспоримым аргументом для всего мира.

Завтрак, вне сомнения, был хорош, но я не помню, что ел и что пил: я жил Амелией, одной Амелией, и, глядя на ее бесподобный лобик, на ее точеные черты, сжимал кулаки в невольном порыве (чуть не опрокинув при этом чашку с кофе) и восклицал про себя: «Я хочу снять эту женщину — и сниму даже ценой собственной гибели!..»

После завтрака началась моя работа, и я опишу ее кратко, сюжет за сюжетом:

Кадр 1. Отец семейства. Я хотел было повторить съемку, но все решили в голос, что и так хорошо: у него, мол, был «вполне обычный вид». По-моему, это не слишком для него лестно, если только не считать «вполне обычным» вид человека, у которого в горле застряла кость и который пытается облегчить муки удушья, скосив оба глаза на кончик носа.

Кадр 2. Мать семейства. Она объявила с жеманной улыбкой, что «в молодости очень увлекалась театром» и хотела бы «сняться з роли любимой шекспировской героини». На кого она намекала, осталось для меня тайной, сколько бы я ни думал, и я отказался от дальнейших попыток за их безнадежностью: не знаю шекспировских героинь, у кого судорожная взвинченность сочеталась бы с таким безразличным выражением лица и кого можно было бы обрядить в синее шелковое платье с шотландским шарфом, переброшенным через плечо, и с гофрированным воротником времен королевы Елизаветы, а также вручить в руки охотничий хлыст.

Кадр 3, 17-я попытка. Беби повернули в профиль. Я долго ждал, пока он не перестанет сучить ножками, потом наконец снял крышку с объектива. Маленький негодник тут же дернул головой. К счастью, она сместилась всего на дюйм, стукнув няньку по носу и тем самым удовлетворив обычное ребячье условие в драке — «до первой крови». В результате на снимке появились два глаза, некое подобие носа и до нелепости широкий рот. Поэтому я назвал то, что получилось, снимком анфас и перешел к следующему сюжету.

Кадр 4. Три младшие дочки. Выглядели они так, словно каждой дали слабительное, а потом связали всех вместе за волосы, прежде чем гримаса отвращения к лекарству исчезнет с их лиц. Разумеется, я оставил свое мнение при себе и заявил не мудрствуя, что они «напоминают мне трех граций».

Кадр 5. Задуман как художественная кульминация всего дня: общая группа, составленная родителями и сочетающая в себе семейный портрет с аллегорией. По замыслу, на голову беби следовало возложить цветы — объединенными усилиями всех остальных детей, под общим руководством отца и под непосредственным надзором матери. Подразумевался и второй смысл: «Победа передает свой лавровый венок Невинности. Решимость, Свобода, Вера, Надежда и Милосердие помогают в осуществлении этой достойной задачи, а Мудрость взирает на происходящее, выражая улыбкой свое одобрение». Повторяю, таковы были намерения. Что касается результата, то любой непредвзятый наблюдатель мог прийти к единственно возможному выводу: у беби случился припадок; мать (вне сомнения, ошибочно толкуя основы анатомии) стремится привести его в чувство, сворачивая ему голову, дабы затылок соприкоснулся с грудью; двое мальчишек, полагая, что младенец вот-вот упокоится, выдирают у него каждый по пряди волос на память о его последних минутах; две девчонки, выжидающие своей очереди дотянуться до волосенок беби, используют передышку для того, чтобы придушить третью; а отец, не в силах смириться, что семейство ведет себя* столь неподобающим образом, лихорадочно ищет карандаш, дабы оставить о сем соответствующую запись.

И все это время у меня не было случая попросить мою Амелию позировать мне отдельно.

Такая возможность представилась только за обедом, и, поговорив о фотографии вообще, я повернулся к ней со словами:

— Прежде чем день подойдет к концу, мисс Амелия, я льщу себя надеждой, что вы удостоите меня разрешения сделать ваш портрет.

Она отвечала с милой улыбкой:

— Конечно, мистер Таббс. Тут неподалеку есть один коттедж. Мне хотелось бы, чтобы вы сняли его после обеда, а затем я к вашим услугам.

— Превосходно! — вмешался этот неотесанный капитан Флэнеген. — Только, чтоб она выглядела заманчиво. Не так ли, Мели, дорогая?

— Конечно, капитан Флэнеген, — перебил я со всем возможным достоинством.

Однако что толку держаться вежливо со скотиной: он разразился громовым ржанием, и Амелия, как и я, едва удержалась от того, чтобы не отчитать его за бесцеремонность. Тем не менее, она с прирожденным тактом пресекла его выходку, сказав этому медведю:

— Ладно, ладно, капитан, мы не должны обращаться с ним слишком строго!..

Строго обращаться со мной? Она обратила на меня внимание! Благослови тебя Бог, Амелия!..

Внезапное счастье охватило меня почти безраздельно, слезы подступили к глазам. Я повторял про себя: «Мечта жизни сбывается! Мне предстоит сфотографировать Амелию!..» В сущности, я был готов в благодарности пасть перед ней на колени и мог бы сделать это, не помешай мне скатерть и не осознай я, что встать потом окажется трудновато.

И все же под конец обеда я улучил момент облечь одолевающие меня чувства в слова. Амелия сидела рядом со мной, я повернулся к ней и произнес чуть слышно, стихами:

— Сердце бьется — близок любви порог...

Но тут наступила общая тишина, и вторую строку произнести не удалось. С восхитительным присутствием духа девушка откликнулась:

— Вы сказали «пирог», мистер Таббс? Капитан Флэнеген, могу я просить вас отрезать мистеру Таббсу кусок пирога?

— Тут почти ничего не осталось, Мели — капитан вскинул свою тупую башку, — может, передать ему блюдо целиком?

— Не утруждайтесь, сэр, — вмешался я, испепеляя его взглядом, но он только ухмыльнулся:

— Ну не стесняйтесь, Таббс, мой мальчик, на кухне наверняка осталось пирога вдоволь...

Амелия посмотрела на меня умоляюще, и пришлось мне проглотить свою ярость — вместе с пирогом.

После обеда, получив указания, как найти нужный коттедж, я пристегнул к камере плотный чехол, чтобы проявлять негативы прямо после съемки, взвалил ее на плечо и направился в сторону холмов, как и было велено. Моя Амелия сидела у окна за работой. Я прошел под окном, но — увы! — ирландский боров был с нею рядом. В ответ на мой взгляд, исполненный безмерного обожания, она вымолвила обеспокоенно:

— Не тяжело ли вам, мистер Таббс? Почему бы вам не обзавестись мальчишкой-носильщиком?

— Или ослом, — хихикнул капитан.

Я остановился как вкопанный, стремительно обернулся к нему, чувствуя: теперь или никогда! Достоинство мужчины должно быть утверждено, бесцеремонность пресечена. Ей я сказал всего лишь: «Спасибо, спасибо!..», поцеловав при этом тыльную сторону своей ладони. Потом встретился глазами с идиотом, замершим подле нее, и прошипел сквозь стиснутые зубы:

— Мы еще встретимся, капитан!

— Ну конечно, встретимся, Таббс, — ответил тупица, так ничего и не поняв, — в шесть часов за ужином.

Вернув камеру на плечо, я мрачно двинулся дальше. Но уже через два шага снова пришел в себя: я знал, что Амелия провожает меня взглядом, и моя поступь по гравию стала опять упругой. Что значит по сравнению с ее взглядом целая орда капитанов? Разве им по силам нарушить мое самообладание?..

От виллы до холмов была без малого миля, и я вскарабкался на вершину, задыхаясь от усталости. Тем не менее, мысль об Амелии заставила меня найти наилучшую точку съемки с тем, чтобы в кадр попали фермер и корова. Прошептал: «Амелия, только ради тебя!», я снял крышку с объектива, а через 1 минуту 40 секунд вернул ее на место с восклицанием: «Готово!». И, не владея собой от восторга, добавил: «Амелия, теперь ты моя!..» Нетерпеливо, волнуясь, я сунул голову под чехол и приступил к процессу проявления. Деревья вышли довольно туманными — что попишешь, налетел ветер и пошевелил их, но они не играют особой роли. Фермер переместился на ярд-другой. Рук и ног у него прибавилось — да Бог с ним, назовем его пауком, сороконожкой, кем и чем угодно. Корова? Как ни огорчительно, вынужден признать, что у нее оказалось три головы, а трехголовое чудище, может, и любопытно, но привлекательным его не назовешь. Зато в отношении коттеджа не оставалось никаких сомнений, высокие его трубы получились безукоризненно.

В это мгновение внутренний мой монолог был прерван чьим-то постукиванием по плечу, притом достаточно властным. Я выбрался из-под чехла — надо ли говорить, что со спокойным достоинством? — и увидел перед собой незнакомца. Крепкого сложения, вульгарно одетого, с отвратительными манерами и зажатой в зубах соломинкой. С ним был спутник еще более отталкивающей наружности.

— Молодой человек, — начал первый, — вы вторглись в чужие владения, убирайтесь подобру-поздорову и не вздумайте спорить!

Вряд ли стоит уточнять, что я не придавал его словам значения, а достал бутылочку с гипосульфитом и принялся фиксировать снимок. Он попробовал остановить меня, я стал сопротивляться, негатив упал и разбился. А больше я ничего не помню, правда, у меня сохранилось смутное подозрение, что я кого-то ударил.

Если, выслушав все, что я вам поведал, вы сможете предложить хоть какое-нибудь объяснение моему нынешнему состоянию, сделайте одолжение. Но самому мне добавить нечего, кроме того, что я сказал с самого начала: я потрясен, у меня все болит, синякам и ссадинам несть числа, а как я их получил, не имею ни малейшего представления.

ФОТОГРАФ НА ВЫЕЗДЕ

Перевод Кирилла Савельева

Я потрясен, удручен, разбит и покрыт синяками. Как я уже много раз говорил, у меня нет ни малейшего представления, как это произошло, поэтому нет смысла осаждать меня новыми вопросами. Разумеется, если хотите, я могу прочитать вам выдержки из моего дневника с полным описанием вчерашних событий, но, если вы надеетесь найти в нем ключ к разгадке тайны, боюсь, вы обречены на разочарование.

23 августа, вторник. Нас, фотографов, называют племенем слепцов. Говорят, что мы распознаем в самых миловидных лицах лишь игру света и тени, что мы редко кем-то восхищаемся и никого не любим. Это заблуждение, которое я жажду развеять, если только смогу найти юную даму, соответствующую моему идеалу красоты, и превыше всего, если ее будут звать... (В почему, интересно, имя Амелия мне милее любого другого слова в английском языке?) Тогда я уверен, что смогу избавиться от этой холодной философской апатии.

Время наконец пришло. Сегодня вечером я случайно встретился с молодым Гарри Кловером в Хеймаркете.

— Таббс! — воскликнул он, фамильярно хлопнув меня по спине. — Мой дядя хочет, чтобы ты завтра приехал к нему на виллу с камерой и остальными причиндалами!

— Но я незнаком с твоим дядюшкой, — с характерной осторожностью ответил я. (N.B.: если у меня есть добродетель, то это сдержанная, благоразумная осторожность.)

— Не беспокойся, старина, зато он все знает о тебе. Поедешь на утреннем поезде и прихвати с собой весь набор бутылочек. Там ты найдешь много лиц, которые можно обезобразить, к тому же...

— Не могу, — грубовато ответил я. Объем работы встревожил меня, и я поспешил прервать Гарри на полуслове, решительно не желая обмениваться вульгарными репликами на улице.

— Что ж, они будут очень расстроены, — сказал он довольно равнодушным тоном. — И моя кузина Амелия...

— Ни слова более! — с энтузиазмом воскликнул я. — Я приеду!

Поскольку в этот момент подкатил мой омнибус, я заскочил внутрь и уехал, прежде чем он оправился от удивления, вызванного переменой в моем поведении. Итак, решено: завтра я увижу Амелию! О Судьба, что уготовано тобою для меня?

24 августа, среда. Прекрасное утро. Собрался в большой спешке; к счастью, разбил лишь две бутылочки и три линзы. Прибыл на виллу «Розмарин», когда все собрались за завтраком. Отец, мать, двое сыновей-школьников, множество детей из яслей и неизбежный МЛАДЕНЕЦ.

Но как мне описать дочь хозяина? Слова тут бессильны; ничто, кроме фотопластинки, не сможет этого сделать. Ее носик находился в прекрасном ракурсе; рот, возможно, нуждался в самом незначительном уменьшении видимой длины в перспективе, но изысканные полутени на щеках заставляли забыть о любых изъянах, а световой эффект на подбородке являл собой совершенство с фотографической точки зрения. О, какая фотография могла бы получиться, если бы злой рок... Но я забегаю вперед.

Еще там был капитан Фланаган...

Я понимаю, что предыдущий абзац получился коротковатым, но когда я дошел до этого места, то вспомнил, что этот идиот действительно считал себя женихом Амелии (моей Амелии!). Я задохнулся от негодования и не смог продолжить. Положим, у него хорошая

фигура, и некоторые могли бы любоваться его лицом, но что такое лицо или фигура без мозгов?

Сам я по комплекции немного склонен к полноте, да и по росту не могу тягаться с жирафами из рода военных... но к чему описывать самого себя? Моя фотография (сделанная собственноручно) будет лучшим доказательством для всего мира.

Завтрак, без сомнения, был хорош, но я не ощущал вкуса еды и питья. Я жил только ради Амелии. Глядя на этот несравненный лоб, на эти точеные черты, я стиснул кулак в невольном порыве (при этом расплескав кофе) и воскликнул про себя: «Я сфотографирую эту женщину или погибну!»

После завтрака начались дневные труды, которые я вкратце опишу здесь.

Фотография № 1. Отец семейства. Этот портрет я хотел переснять, но все заявили, что получилось очень хорошо и что «это его обычное выражение лица», — хотя, если только «обычное выражение лица» не является выражением на лице человека, подавившегося костью, который скосил глаза к переносице в попытке справиться с приступом удушья, — должен признать, это заявление было чересчур оптимистичным.

Фотография № 2. Мать семейства. Устраиваясь для позирования, она сообщила с жеманной улыбкой, что «в юности очень любила театр» и что она «хочет, чтобы ее сфотографировали в роли любимой шекспировской героини». После долгих и тягостных раздумий на эту тему мне пришлось отнести ее к разряду неразрешимых загадок, поскольку я не мог припомнить ни одной шекспировской героини, у которой судорожно-энергичная поза сочеталась бы с выражением полнейшего безразличия на лице, а голубое шелковое платье сопровождалось бы шотландским шарфом, перекинутым через плечо, гофрированным жабо елизаветинской эпохи на шее и охотничьим хлыстом в руке.

Фотография № 3. 17-й сеанс позирования. Поместил младенца в профиль. Подождав, пока не закончится обычное брыканье, открыл объектив. Маленький негодник немедленно откинул голову — к счастью, лишь на дюйм, так как уткнулся в нос сиделке, удовлетворив таким образом свои притязания на «первую кровь» (пользуясь спортивной терминологией). Разумеется, в результате профиль получился с двумя глазами, чем-то вроде носа и неестественно широким ртом. Назвал это снимком анфас и перешел к следующему предмету.

Фотография № 4. Три младших девочки, как они могли бы получиться, если бы им всем одновременно дали выпить дозу снотворного и связали вместе за волосы, прежде чем лекарство перестанет действовать. Разумеется, я сохранил это мнение при себе, а вслух сказал, что «это напоминает картину с тремя Грациями», но фраза завершилась невольным стоном, который я с превеликим трудом превратил в кашель.

Фотография № 5. Это должно было стать величайшим художественным достижением сегодняшнего дня: семейная композиция, придуманная родителями и сочетавшая домашний уют с аллегорией. В качестве последней выступал младенец, увенчанный цветами в результате совместных усилий детей, направляемых отцовским советом, под личным надзором и руководством матери. Смысл этого действия сводился к изречению: «Победа, передающая свой лавровый венок Невинности при благом содействии Решимости, Независимости, Веры, Надежды и Милосердия, пока Мудрость благожелательно взирает на них с одобрительной улыбкой». Таково было намерение, но результат для любого непредубежденного наблюдателя мог иметь лишь одно истолкование, а именно:

— с младенцем случился припадок;

— мать (без сомнения руководствуясь ошибочными представлениями о человеческой анатомии) попыталась спасти младенца, соединив макушку его головы с грудной клеткой;

— двое мальчиков, не имевших для младенца никаких планов на будущее, кроме его немедленной гибели, выдирали локоны его волос в качестве памяти об этом роковом событии;

— две девочки, ожидавшие своей очереди за сувенирами, воспользовались этой возможностью, чтобы придушить третью;

— отец, пришедший в отчаяние от неподобающего поведения своих домочадцев, заколол себя и теперь ищет свой пенал, чтобы составить меморандум об этом событии.

В течение всего этого времени я не имел возможности попросить мою Амелию о сеансе позирования, но после ленча мне выпала такая удача. Представив тему фотографии в общих чертах, я повернулся к ней и сказал:

— Мисс Амелия, надеюсь, что до исхода дня мне выпадет честь обратиться к вам за негативом.

— Разумеется, мистер Таббс, — с милой улыбкой ответила она. — Неподалеку есть коттедж, куда вы можете прогуляться после ленча, а потом я буду к вашим услугам.

— Надеюсь, она устроит вам славное представление! — вмешался неуклюжий капитан Фланаган, коверкавший слова ужасным ирландским акцентом. — Не так ли, дорогая Мели?

— Надеюсь, это так, капитан Фланаган, — с большим достоинством ответил я, но моя вежливость была впустую потрачена на этого скота: он разразился хриплым хохотом, и мы с Амелией едва удерживались от смеха при виде его глупости. Тем не менее, она тактично завершила эту сцену, обратившись к грубияну в мундире:

— Полно, капитан, мы не должны быть слишком суровы с ним. (Суровы со мной! Со мной! Храни тебя Бог, Амелия!)

Внезапное счастье этого момента едва не лишило меня самообладания; к моим глазам подступили слезы, и я подумал: «Мечта моей жизни исполнилась! Я сфотографирую девушку, которую зовут Амелия!» Я бы опустился на колени в благодарность перед нею, если бы скатерть не мешала мне это сделать и если бы я не знал, как трудно встать на ноги, находясь в таком положении.

Однако ближе к концу трапезы я воспользовался возможностью дать выход переполнявшим меня чувствам: повернувшись к Амелии, сидевшей рядом со мной, я прошептал:

— В этой груди бьется сердце, и если преступить порог...

Но тут воцарившееся за столом молчание предупредило меня, что лучше оставить фразу незавершенной. С восхитительным присутствием духа Амелия обратилась ко мне:

— Вы сказали «пирог», мистер Таббс? Капитан Фланаган, могу я попросить вас отрезать мистери Таббсу кусочек сладкого пирога?

— Тут почти ничего не осталось, — произнес капитан, едва не уткнувшись в пирог своей здоровенной головой. — Может, передать ему блюдо, Мели?

— Нет, сэр! — запротестовал я, устремив на Фланагана взгляд, который должен был немедленно осадить его, но он лишь ухмыльнулся и сказал:

— Не скромничайте, Таббс, мой мальчик, в кладовой наверняка есть добавка.

Амелия с беспокойством смотрела на меня, поэтому мне пришлось проглотить свою ярость с остатками пирога в придачу.

После ленча, получив указания, как найти дорогу к коттеджу, я прикрепил к камере чехол для проявления фотоснимков на свежем воздухе, пристроил ее на плече и зашагал в сторону холма, о котором мне сказали.

Моя Амелия сидела у окна с шитьем в руках, когда я проходил мимо; идиот-ирландец околачивался рядом. В ответ на мой взгляд, исполненный неугасимой любви, она озабоченно сказала:

— Я уверена, что камера слишком тяжела для вас, мистер Таббс. Хотите, я позову мальчика-слугу, и он понесет ее?

— Может быть, ослика? — хихикнул капитан.

Я резко остановился и повернулся к ним, преисполненный уверенности, что человеческое достоинство и гражданские свободы нужно отстаивать сейчас или никогда. Ей я просто сказал:

— Благодарю вас, благодарю! — целуя свою руку при этом; потом, устремив взор на глупца, стоявшего рядом с ней, я прошипел сквозь стиснутые зубы: — Мы еще встретимся, капитан!

— Конечно, Таббс, надеюсь на это, — ответил этот безмозглый чурбан. — Обед ровно в шесть, не забудьте!

Меня охватила холодная дрожь; мои усилия, стоившие великого труда, опять пропали впустую. Я снова взвалил камеру на плечо и угрюмо пошел дальше.

Через несколько шагов я пришел в себя; я знал, что она смотрит мне вслед, и моя походка вновь обрела упругую бодрость. Что для меня значили в этот момент все капитаны на свете? Разве им под силу нарушить мое самообладание?

Холм находился почти в одной миле от дома, и когда я достиг его, то устал и запыхался. Тем не менее мысль об Амелии поддерживала меня. Я выбрал лучшее место с видом на коттедж, чтобы включить в кадр фермера и корову, бросил нежный взгляд на далекую виллу и со словами «это для тебя, Амелия!» снял крышку с объектива. Через одну минуту и сорок секунд я вернул крышку на место.

— Дело сделано! — воскликнул я, охваченный безудержным восторгом. — Амелия, теперь ты моя!

Весь дрожа от нетерпения, я спрятал голову под чехол и начал проявлять снимок. Деревья довольно нечеткие... ладно! Ветер раскачивал ветви, но это не будет очень заметно. А фермер? М-да... он прошел несколько ярдов, и прискорбно видеть, как много рук и ног у него появилось. Бог с ним! Назовем его пауком, сороконожкой, чем угодно... а корова? С большой неохотой я был вынужден признать, что у коровы три головы, и хотя такое животное имеет курьезный вид, его не назовешь живописным. Однако с коттеджем все было в порядке; его каминные трубы выглядели прекрасно. «С учетом всех обстоятельств, — подумал я, — Амелия будет...»

Но тут мой внутренний монолог был прерван хлопком по плечу, скорее бесцеремонным, нежели дружеским. Я высунул голову из-под чехла — нужно ли говорить, с каким спокойным достоинством это было сделано? — и повернулся к незнакомцу. Это был коренастый мужчина отталкивающей наружности, вульгарно одетый и жующий соломинку; его спутник превосходил его во всех упомянутых особенностях.

— Молодой человек, — начал первый. — Тут частное владение, так что сматывайте удочки, и давайте побыстрее.

Не стоит и говорить, что я не обратил внимания на эти слова, но взял бутылочку с гипосульфитом соды и стал закреплять фотоснимок. Он попытался остановить меня, я воспротивился; негатив упал и разбился. Дальше ничего не помню, хотя у меня осталось смутное впечатление, будто я кого-то ударил.

Если в тексте, который я только что прочитал, вы можете найти какое-то обстоятельство, послужившее причиной моего нынешнего состояния, можете оставаться при своем мнении. Но, как упоминалось выше, я потрясен, удручен, разбит, покрыт синяками с головы до ног и не имею ни малейшего представления о том, как это случилось.

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ ФОТОГРАФА

Перевод Андрея Боченкова

У меня все болит, саднит, ломит и гудит. Как я уже неоднократно повторял, я не имею ни малейшего понятия, как это произошло, и бесполезно донимать меня новыми расспросами. Конечно, если вам так уж хочется, я могу прочитать выдержку из своего дневника, содержащего полный отчет о событиях вчерашнего дня, но, если вы ожидаете найти в нем разгадку этой тайны, боюсь, вас ожидает жестокое разочарование.

23 августа, вторник.

Бытует мнение, что мы, фотографы, в лучшем случае — слепцы; что мы воспринимаем даже самые красивые лица как определенное сочетание света и тени; что мы редко восхищаемся и никогда не любим. Это иллюзия, которую я жажду развеять, — если бы только мне найти в качестве модели юную девушку, воплощающую мой идеал красоты, и, самое главное, если бы ее звали (странно, почему это я испытываю безумную любовь к имени Амелия больше, чем к какому-либо другому?), — я уверен, что смог бы стряхнуть с себя эту холодную философическую вялость.

И этот час наконец пришел. Не далее как сегодня вечером я столкнулся на Хеймаркет-стрит с юным Гарри Гловером.

— Таббс! — вскричал он, фамильярно хлопая меня по спине. — Мой дядя хочет, чтобы ты был завтра у него на вилле с фотоаппаратом и всеми причиндалами!

— Но я ведь незнаком с твоим дядей, — ответил я со свойственной мне осторожностью. (NB. Если у меня и есть достоинства, то это спокойная, исполненная благородства осторожность.)

— Неважно, старина, главное, что он все знает о тебе. Выезжай первым поездом и возьми с собой всю свою химию, потому что там у тебя будет возможность обезобразить кучу физиономий и...

— Не могу! — довольно грубо ответил я, встревоженный масштабами предстоящей работы. Я решил сразу оборвать его, поскольку решительно против того, чтобы разговаривать на подобном жаргоне в общественных местах.

— Ну что ж, тогда они здорово обидятся, вот и все, — сказал Гарри, сохраняя довольно невозмутимое выражение, — а моя кузина Амелия...

— Ни слова больше, — с энтузиазмом вскричал я, — я еду! — И поскольку в этот момент подошел мой омнибус, я впрыгнул на подножку и укатил под грохот колес и цокот копыт, прежде чем он опомнился от изумления, вызванного произошедшей во мне переменой. Итак, решено: завтра я увижу Амелию и — о Фортуна! — что еще ты уготовила мне?

24 августа, среда.

Восхитительное утро. Собрался в большой спешке; по счастью, при этом разбил только две бутылки и три мензурки. Прибыл на виллу Розмари, когда вся компания только садилась завтракать. Отец, мать, два сына-школьника, куча детей ясельного возраста и неизбежный МЛАДЕНЕЦ.

Но как мне описать дочь? Слова бессильны; этого не в состоянии сделать никто и ничто, кроме фотопластинки. Ее носик был идеален, ротик, возможно, следовало бы чуть-чуть уменьшить, зато изысканные полутона на щеке могли бы ослепить любого, заставив закрыть глаза на любые недостатки, а что до блика на подбородке, он был (с точки зрения

фотографического искусства) само совершенство. О! Какая бы из нее получилась фотография, если бы судьба не... — впрочем, я забегаю вперед.

Там же присутствовал некий капитан Фланаган...

Я понимаю, что предыдущий абзац закончился довольно неожиданно, но когда я дошел до этого места, то вспомнил: этот идиот искренне полагал, что помолвлен с Амелией (с моей Амелией!). У меня от возмущения сперло дыхание, и я не мог продолжать дальше. Его фигура, я готов это признать, была недурна: возможно, кому-то понравилось бы его лицо; но что такое лицо и фигура без мозгов?

Моя собственная фигура, возможно, отличается некоторой коренастостью; по телосложению я совсем не похож на этих военных жирафов — но почему я должен себя описывать? Моя фотография (сделанная мной самим) позволит всему миру оценить меня по достоинству.

Завтрак, без сомнения, был хорош, но я не осознавал, что ем или пью; я жил лишь для одной Амелии, и, уставившись неподвижным взглядом в этот бесподобный лобик, эти точеные черты, я сжимал кулаки в невольном порыве (при этом расплескав кофе) и восклицал про себя: «Я сфотографирую эту женщину или погибну, пытаюсь это сделать!»

После завтрака я приступил к работе, суть которой я здесь вкратце изложу.

Картина 1. Paterfamilias^[9]

ЭТОТ снимок я хотел сделать еще раз, но они все заявили, что прекрасно сойдет и так, и на нем просто запечатлено «его обычное выражение»; хотя, если только его обычным выражением не было выражением человека, у которого в горле застряла кость и который отчаянно старается облегчить агонию удушья посредством созерцания обоими глазами кончика носа, я должен признать, что данная трактовка была слишком доброжелательной.

Картина 2. Materfamilias^[10]

Усаживаясь для фотографирования, она, глупо улыбаясь, сообщила нам, что «в юности очень любила театральные постановки» и что «хотела бы, чтобы ее сняли в образе одной из ее любимых шекспировских героинь». После долгих и тревожных размышлений на эту тему я, в бессилии, отказался от попыток догадаться, что это за героиня, сочтя это безнадежной загадкой, поскольку не знал ни одной из шекспировских героинь, которой бы поза, полная такой судорожной энергии, сочеталась бы с настолько апатичным лицом, или которую можно было бы, соответственно, представить одетой в голубое шелковое платье с гофрированным круглым воротником времен королевы Елизаветы, с шотландским шарфом на плече и с охотничьим хлыстом.

Картина 3. Семнадцатая попытка

Усадил ребенка профилем к камере. Подождав, пока прекратится обычное в таких случаях брыкание ножками, снял колпачок с объектива. Маленький негодяй мгновенно откинул голову назад, — к счастью, только на дюйм, поскольку голова уперлась в нос няньки, на чем дитя успокоилось, посчитав, что правило «до первой крови» (если пользоваться спортивной терминологией) успешно соблюдено. Совершенно естественно, что в результате на снимке получилось два глаза, нечто, что можно было бы назвать носом, и неестественно широкий рот. Назвал это произведение, соответственно, портретом анфас, после чего последовала...

Картина 4

Три юные девицы, каковыми бы они выглядели, если бы по какой-нибудь случайности можно было бы в тот же момент каждой из них выдать по лошадиной дозе слабительного, связать всю троицу за волосы и держать так до тех пор, пока с их лиц не сойдет выражение, произведенное лекарством. Разумеется, я сохранил мнение на данную тему при себе и просто сказал, что «это напоминает мне картину с тремя грациями», однако фраза перешла в

невольный стон, который мне с величайшим трудом удалось замаскировать судорожным кашлем.

Картина 5

Предполагалось, что этот снимок увенчает труды всего дня как великий художественный триумф: групповая семейная фотография, с участниками, расставленными по местам усилиями обоих родителей, и сочетающая семейные мотивы с аллегорическими. Согласно замыслу, она должна представлять младенца, на которого объединенными усилиями детей постарше возлагается корона из цветов, под руководством отца и под личным наблюдением матери; под всем этим скрывался подспудный смысл: «Победа, передающая свою лавровую корону Невинности с Решимостью, Независимостью, Верой, Надеждой и Милосердием, помогающими ей в этой благородной миссии, в то время как Мудрость благосклонно взирает на них и одобрительно улыбается!» Таков, я повторяю, был замысел; результат же для любого непредвзятого наблюдателя допускал лишь одну интерпретацию — что младенца хватил родимчик; что мать (несомненно, находясь под влиянием каких-нибудь ошибочных представлений о принципах человеческой анатомии) пытается вернуть малютку к жизни, приводя его макушку в соприкосновение с грудью; что два мальчика, не видя никаких перспектив в отношении младенца, кроме неминуемой гибели, выдирают пряди из его волос на память об этом роковом событии; что две девочки ожидают своего шанса вцепиться в волосы младенца и используют это время для того, чтобы удушить третью; и что отец, придя в отчаяние от необычного поведения своей семьи, закололся и сейчас ощупывает себя в поисках карандаша, дабы написать посмертную записку.

Все это время у меня не было случая попросить мою Амелию попозировать для фотографического портрета, но за обедом мне удалось найти такую возможность, и, заведя разговор на тему фотографии в общем, я повернулся к ней и сказал: «Еще до конца дня, мисс Амелия, я надеюсь оказать себе честь прийти к вам за негативом». Мило улыбаясь, она ответила:

— Разумеется, мистер Таббс. Тут неподалеку есть один коттедж, и я хотела бы, чтобы вы попробовали снять его после обеда, а когда вы с ним закончите, я буду в вашем распоряжении.

— Шикарно! Впрочем, я надеюсь, не в полном! — вмешался неуклюжий капитан Фланаган. — Верно, Мели, дорогая?

— Полагаю, что нет, капитан Фланаган, — поспешно, хотя и с большим достоинством произнес я; но, когда имеешь дело с подобным животным, вежливость и такт — лишь пустая трата времени и сил; в ответ он громко загоготал, и мы с Амелией едва сдержались, чтобы не рассмеяться над его недомыслием. Впрочем, она с большим тактом сразу же пресекла его глупый смех, сказав этому медведю:

— Полноте, капитан, мы не должны быть с ним слишком суровы! (Суровы со мной! со мной! Благослови тебя Боже, Амелия!)

Неожиданное счастье этого мгновения чуть не переполнило мои чувства; слезы едва не брызнули из глаз, когда я подумал: «Мечта всей Жизни достигнута! Я смогу запечатлеть одну из Амелий!» Честно говоря, я почти уверен, что точно опустился бы на колени, дабы поблагодарить ее, если бы мне не помешала скатерть и если бы я не знал, как трудно будет потом вылезти из-под стола.

Однако ближе к концу обеда я воспользовался возможностью выразить переполнявшие меня чувства: повернувшись к Амелии, которая сидела рядом со мной, я едва успел пробормотать слова: «Сердце, бьющееся в этой груди, исполнено чувств такого сорта...», когда внезапно наступившее общее молчание помешало мне закончить фразу. Демонстрируя самое восхитительное присутствие духа, она сказала:

— «Торта», вы сказали, мистер Таббс? Капитан Фланаган, могу я побеспокоить вас и попросить отрезать мистери Таббсу кусочек торта?

— Его уже почти съели, — сообщил капитан, засовывая свою огромную голову чуть не в середину торта, — передать ему блюдо, Мели?

— Нет, сэр! — воскликнул я, одарив капитана таким взглядом, который должен был просто уничтожить его, однако он лишь ухмыльнулся и сказал:

— Только не нужно скромничать, Таббс, мой мальчик, наверняка в буфете еще много осталось.

Амелия смотрела на меня с такой тревогой, что я проглотил свой гнев — и торт.

Обед закончился, и я получил инструкции относительно того, как найти коттедж. Прикрепив к своей камере мешок, используемый для проявки снимков на открытом воздухе, и взвалив аппарат на плечо, я направился к указанному мне холму.

Когда я проходил мимо с треногой на плече, мисс Амелия сидела у окна, занимаясь рукоделием; болван-ирландец околачивался рядом. В ответ на мой взгляд, исполненный неугасимой любви, она обеспокоенно спросила:

— А вы не возьмете с собой какого-нибудь мальчишку-слугу, чтобы он помог вам нести эту штуку?

— Или осла? — хихикнул капитан.

Я резко остановился и повернулся, чувствуя, что именно сейчас или никогда следует защитить достоинство Мужчины и поставить субъекта на место. Ей же я просто сказал «спасибо! спасибо!», перемежая слова поцелуями собственной руки; затем, сконцентрировав взгляд на идиоте, стоявшем возле нее, прошипел сквозь стиснутые зубы: «Мы еще встретимся, капитан!»

— Конечно, я надеюсь, Таббс, — ответил ничего не сообразивший тупица, — ведь ровно в шесть ужин, не забудьте! — Меня пронзила холодная дрожь: только что я чуть было не совершил героический подвиг и... потерпел неудачу. Я взвалил камеру на плечо и, во власти мрачных мыслей, двинулся дальше.

Два шага, и я снова стал самим собой; я знал, ев глаза смотрят на меня, и поэтому опять зашагал по каменистой дорожке пружинистой поступью. Какое мне дело было в тот момент до всех капитанов на свете? Разве они способны поколебать мое душевное равновесие?

Холм находился примерно в миле от дома, и я добрался до него усталый и запыхавшийся. Впрочем, мысли об Амелии меня взбодрили. Я выбрал наилучшую точку для съемки коттеджа, так что в кадр попадали фермер и корова, бросил один нежный взгляд в направлении далекой виллы и, пробормотав «Амелия, ради тебя!», снял крышку с объектива. Через 1 минуту 40 секунд я надел ее на место. «Готово! — вскричал я, не в силах сдержать восторг. — Амелия, теперь ты моя!»

Дрожа от нетерпения, я накрыл голову мешком и приступил к проявке. Деревья довольно расплывчаты — не беда! Их немного раскачивал ветер; это будет не слишком заметно. Фермер? Ну, он прошел за это время ярд или два, и я должен с сожалением отметить, что у него получилось столько рук и ног!.. — Впрочем, ничего страшного! Назовем его пауком, сороконожкой, всем, чем угодно. Корова? Вынужден, хотя и с большой неохотой, признать, что у коровы было три головы, и, хотя такое животное может показаться занятым, живописным его не назовешь. Однако по поводу коттеджа никаких сомнений возникнуть не могло; его дымовые трубы были выше всяких ожиданий, и, «учитывая все в совокупности», подумал я, «Амелия будет...».

В этот момент мой мысленный монолог был прерван хлопком по плечу, скорее повелительным, чем наводящим на размышления. Я извлек себя из мешка — нужно ли

пояснять, с каким достоинством? — и повернулся к незнакомцу. Это был мужчина крепкого сложения, вульгарный с точки зрения манеры одеваться и отталкивающий с точки зрения выражения лица, да еще с соломиной во рту. Его спутник превзошел его по части этих отличительных особенностей.

— Молодой человек, — начал первый, — вы тут вторглись на частную собственность и должны убраться отсюда, и это безо всяких сомнений. — Вряд ли стоит упоминать, что я не обратил никакого внимания на эту реплику, а хладнокровно взял бутылку с гипосульфитом натрия и приступил к процессу фиксации изображения; он попытался помешать мне; я сопротивлялся: пластинка с негативом упала и разбилась. Больше я ничего не помню, у меня только лишь сохранилось крайне смутное воспоминание о том, что я кого-то ударил.

Если вы сможете обнаружить в том, что я вам только что прочитал, нечто, что могло бы объяснить мое нынешнее состояние, я буду только рад; но, как я уже отмечал ранее, все, что я могу вам сказать, это то, что у меня все болит, саднит, ломит и гудит, а как это со мной случилось, не имею ни малейшего понятия.

ФОТОГРАФ НА СЪЕМКАХ

Перевод Андрея Москотельникова

Я потрясен, разбит, болен и весь покрыт синяками. Как я уже много раз вам толковал, я не имею ни малейшего представления, что со мной случилось, и нет смысла докучать мне еще какими-либо расспросами. Могу прочесть вам, коли желаете, выдержки из моего дневника, которые содержат полное описание произошедших вчера событий; однако, если вы ожидаете найти в моих записках ключ ко всей загадке, боюсь, вас ждет разочарование.

23 августа, вторник.

Говорят, что мы, фотографы, народец в лучшем случае незрячий, что мы приучились смотреть даже на самые милovidные лица как на обыкновенную игру света и тени, что мы редко любимся и никогда не любим. Вот заблуждение, которое я страстно желаю развеять; лишь найти бы мне в качестве модели юную девушку, воплощающую мой идеал красоты, — да еще бы имя ее было... сам не знаю почему, но более всех других слов английского языка мне милее слово «Амелия», — и я совершенно уверен, что смог бы стряхнуть эту свою холодную, рассудочную безжизненность.

В конце концов, мой час настал. Этим самым вечером я столкнулся в Хаймаркете с молодым Гарри Гловером.

— Таббс! — воскликнул он, фамильярно хлопнув меня по спине. — Мой дядя желает видеть вас завтра на своей загородной вилле; возьмите фотоаппарат и все к нему причитающееся!

— Но я не знаю вашего дяди, — ответил я со свойственной мне осторожностью. (N.B. Если и есть у меня какое достоинство, так это спокойная, приличествующая джентльмену осторожность.)

— Ничего, приятель, он зато все знает о вас. Садитесь на самый ранний поезд и прихватите полный набор склянок, так как у нас вы найдете много физиономий, которые только и ждут, чтобы их изуродовали, и...

— Не могу я, — сказал я весьма резко, ибо объем работы меня беспокоил, и к тому же мне захотелось прервать разговор, изобилующий нелитературными выражениями, чего я посреди людной улицы решительно не переносу.

— Что ж, они здорово расстроятся, — сказал Гарри, причем его лицо ничего не выражало. — И моя кузина Амелия...

— Ни слова больше! — воскликнул я с жаром. — Я еду!

И так как в этот момент подошел мой омнибус, я запрыгнул в него и с грохотом отъехал, оставив Гарри приходить в себя после быстрой смены моего настроения. Значит, решено: завтра мне предстоит увидеть некую Амелию и — ну, судьба! что ты мне приготовила?

24 августа, среда.

Восхитительное утро. Спешно собрался, разбив при этом, по счастью, всего две бутылки и лишь три линзы. Прибыл на виллу «Розмэри», когда все общество сидело за завтраком. Отец, мать, два сына-школьника, куча малышей и неизбежный младенец.

Но как же мне описать дочь? Любые слова здесь бессильны. Перспектива ее носа была изумительна; ротик, правда, следовало бы созерцать под наименьшим возможным ракурсом, зато изысканные полутона щек скрадывали все дефекты текстуры, а что касается светового блика на подбородке, то он (говоря языком фотографов) был совершенен. Что за фотопортрет

мог бы получиться с нее, если бы судьба не... Но я опережаю события.

Там присутствовал капитан Фланаган...

Я понимаю, что предыдущий абзац обрывается несколько резковато, но когда я дошел до этого места, то вспомнил, что этот идиот в самом деле полагал, будто он помолвлен с Амелией (*моей* Амелией!). А потому я поперхнулся и не смог продолжить. Это правда, капитан имел хорошую фигуру; некоторые могли бы залюбоваться его лицом, но чего стоят лицо или фигура, если нет мозгов?

Меня с точки зрения фигуры можно было бы, вероятно, назвать «здоровым»; комплекция у меня не та, что у ваших военных жирафов, — но зачем мне описывать самого себя? Мой фотопортрет (мною же и сработанный) послужит миру достаточным свидетельством.

Завтрак, без сомнения, был хорош, но я не осознавал, что именно ем и пью. Я жил только для Амелии. Заглазевшись на это бесподобное чело, на это чеканное лицо, я в невольном порыве сжал кулак (опрокинув при этом свою чашку с кофе) и мысленно воскликнул: «Я сфотографирую эту девушку или погибну!»

После завтрака моя работа началась, и я здесь кратко опишу ее.

Снимок N1: Paterfamilias^[11]. Этот снимок я желал бы повторить, но все заявили, что вышло очень даже хорошо и у главы семейства «как раз его обычное выражение лица». Неужели и впрямь его обычное выражение таково, словно в горле у него застряла кость, он изо всех сил стремится избежать удушья и от натуги разглядывает кончика своего носа обеими глазищами, или же подобное заявление было призвано приукрасить результат?

Снимок N2: Materfamilias^[12]. Усевшись, она сказала нам с жеманной улыбкой, что «в юности очень сильно увлекалась театральными постановками» и что «желает сфотографироваться в образе своей любимой шекспировской героини». Что это за героиня, я, после длительных и лихорадочных размышлений, отчаялся выяснить, так как не ведаю ни одной героини Шекспира, у которой бы осанка, выражающая такую порывистую энергию, сочеталась с полнейшим безразличием лица, или коей подошел бы костюм, включающий голубое шелковое платье с перекинутым через одно плечо шарфом горца, кружевной гофрированный воротник времен королевы Елизаветы и охотничий хлыстик.

Снимок N3, 17-я проба. Посадил младенца в профиль. Дождавшись, когда стихло его обычное брыканье, снял крышечку с объектива. Маленький негодник тотчас откинул головку назад, к счастью, всего на дюйм, так как на ее пути встал нянин нос. Младенец добился-таки «первой крови» (выражаясь спортивным языком), поэтому ничего удивительного, что фотография зафиксировала два глаза, нечто, отдаленно напоминающее нос, и неестественно широкий рот. Я назвал это снимком анфас и перешел к

Снимку N4: три молодые девушки, вид у которых такой, словно каким-то образом им, причем троим сразу, влили сильнейшую дозу лекарства, предварительно повязав их собственными волосами, а затвор щелкнул в тот момент, когда сморщенные после приема лица еще не разгладились. Разумеется, я придержал свое мнение при себе, сказал только, что «это напоминает мне изображение трех Граций», однако мое заявление завершилось невольным стоном, который мне чрезвычайно трудно было выдать за кашель.

Снимок N5. Он должен был бы стать шедевром этого дня — все семейство, рассажненное обоими родителями с целью изобразить идею радостей семейной жизни вкуче с аллегорией. В намерение входило представить увенчание младенца цветами с помощью соединенных усилий детей, направляемых советами отца под личным надзором матери; одновременно это должно было означать «Победу, передающую свой лавровый венок Невинности, в окружении Решительности, Независимости, Веры, Надежды и Милосердия, содействующих выполнению этой возвышенной миссии, в то время как Мудрость ласково на них глядит и одобрительно

улыбается!» Таковым, повторяю, было *намерение*; результат, на взгляд любого непредубежденного наблюдателя, имел однозначное толкование: младенец в припадке, мать (несомненно, под влиянием ошибочных представлений об основах человеческой анатомии), пытающаяся вернуть его к жизни путем пригибания его макушки до соприкосновения с грудкой; два мальчугана, в предчувствии скорой кончины малютки отрывающие от его волос по локону в память рокового события; две девушки, ожидающие своей очереди на доступ к волосам ребенка и коротающие время за удушением третьей; и, наконец, папаша, в отчаянии от необычного поведения своей семьи проткнувший себя ножом и нащупывающий рукой свой письменный прибор, чтобы сделать памятную запись.

Все это время я не имел случая пригласить к аппарату свою Амелию, но в продолжение второго завтрака я улучил-таки момент и, порассуждав о фотографировании вообще, повернулся к ней со словами:

— Перед тем, как стемнеет, мисс Амелия, я надеюсь иметь честь отобразить на негативе вас.

Она же ответила мне с милой улыбкой:

— Конечно, мистер Таббс. Здесь неподалеку есть домик, мне хочется, чтобы вы его сфотографировали после завтрака. Когда вы закончите, я буду в вашем распоряжении.

— И поверьте, негатива у вас будет препорядочно! — встрял этот ужасный капитан Фланаган. — Устроим ему, дорогая Мели?

— Весьма надеюсь, капитан Фланаган, — перебил я его с величайшим достоинством. Но моя вежливость пропала втуне, ибо это животное разразилось громким «о-хо-хо!», так что Амелия и я едва не расхохотались над его глупым поступком. Она, однако, с природным тактом исправила положение, заявив этому медведю:

— Ну-ну, капитан, не будем с ним слишком жестокими!

(Жестокими со мной! Со мной! Благослови тебя Господь, Амелия!)

В этот момент на меня нахлынуло внезапное ощущение счастья, и слезы навернулись мне на глаза, когда я подумал: «Исполнилась мечта моей жизни! Я сфотографирую Амелию!»

Я и вовсе пал бы на колени, чтобы возблагодарить ее, если бы при этом меня не скрыла скатерть и если бы я не знал заранее, насколько трудно бывает после этого вновь принять нормальное положение.

И все же в конце трапезы я ухватился было за возможность дать выход переполнявшим меня чувствам. Повернувшись к сидевшей рядом Амелии, я едва успел прошептать ей: «В груди, где это сердце, моя дорога...»^[13] — но не закончил фразы, так как за столом вдруг воцарилось молчание. С восхитительным присутствием духа Амелия произнесла:

— Еще пирога, говорите, мистер Таббс? Капитан Фланаган, будьте любезны, отрежьте мистери Таббсу вон того пирога.

— Его почти не осталось, — сказал капитан, нагнув свою большущую голову почти к самому пирогу. — Я передам ему все блюдо, хорошо, Мели?

— Не надо, сэр, — вмешался я, бросив на него уничтожающий взгляд, но он только усмехнулся и произнес:

— Не скромничайте, Таббс, мой мальчик. В кладовке пирогов еще хватает.

Амелия с беспокойством взглянула на меня, и мне пришлось проглотить гнев — и пирог тоже.

Второй завтрак закончился, и я, получив указания, как добаться до домика, приладил к своей камере накидку, предназначенную для проявления пленки на открытом воздухе, саму камеру водрузил на плечо и направился к холмам, на которые мне указали.

Моя Амелия сидела за работой у окна, когда я со своим аппаратом проходил мимо;

ирландский идиот был подле нее. В ответ на мой исполненный бессмертной любви взгляд она сказала с тревогой:

— Мистер Таббс, вам, наверно, очень тяжело? У вас разве нет мальчика-носильщика?

— Или ослика, — хихикнул капитан.

Я сдержал шаг и круто обернулся, чувствуя, что человеческое достоинство и свобода личности должны отстоять свои права сейчас или никогда. Ей я сказал просто: «Благодарю вас!», послав при этом воздушный поцелуй, затем, вперив взгляд в стоящего тут же идиота, я прошипел сквозь стиснутые зубы:

— Мы еще встретимся, капитан!

— Надеюсь, Таббс, — ответил безмозглый болван. — Ровно в шесть, за обедом, помните!

Холодная дрожь пронизала меня. Я приложил величайшее усилие, чтобы ее побороть, но мне это не удалось. Что ж, я снова приладил свою камеру на плечо и угрюмо зашагал прочь.

Пара шагов, и вот я совладал с собой. Зная, что ее взгляд был устремлен на меня, я ступал по гравию упругой поступью. Что за дело было мне в этот момент до всего капитанского племени? Могло ли оно поколебать мое самообладание?

Холм располагался примерно в миле от виллы, поэтому я достиг его усталым и запыхавшимся. Но мысли об Амелии придавали мне сил. Место я выбрал такое, чтобы с него открывался наилучший вид на домик и чтобы можно было также захватить в кадр крестьянина и корову, бросил влюбленный взгляд в направлении отдаленной виллы и, бормоча: «Амелия, все это ради тебя!», снял колпачок с объектива. Спустя одну минуту и сорок секунд я вновь надел его.

— Дело сделано! — вскричал я в безотчетном порыве. — Амелия, ты моя!

Нетерпеливо, дрожа всем телом, сунул я голову под накидку и приступил к проявке. Деревья несколько размыты — ничего! Ветер их слегка качнул; это не имеет особого значения. Крестьянин? Он сдвинулся на пару дюймов, и я с сожалением обнаружил у него слишком много рук и ног — не страшно! Назовем его пауком или многоножкой. Корова? Нехотя должен признать, что у нее оказалось три головы; хотя такое животное может быть весьма любопытным, оно совершенно не живописно. Зато насчет домика нельзя было ошибиться, его дымоходы не оставляли желать лучшего, и — «Принимая во внимание все вместе, — думал я, — Амелия будет...»

Но в этот момент мой внутренний монолог был прерван хлопком по плечу, который к тому же оказался скорее повелительным, чем вежливым. Я вылез из-под накидки (излишне говорить, с каким сдержанным достоинством) и повернулся к чужаку. Это был плотный человек в грубой одежде, с виду омерзительный. Во рту он держал соломинку. Его спутник полностью ему соответствовал.

— Молодой человек, — произнес первый, — вы заявились без спросу в чужие владения, так что удалитесь, и весь тут сказ.

Едва ли следует говорить, что я не обратил на его слова никакого внимания, а взял бутылочку с гипосульфитом натрия и приступил к фиксации изображения. Мужлан попытался меня остановить, я дал отпор; негатив упал и разбился. Из дальнейшего не помню ничего, могу лишь высказать смутную догадку, что я кому-то как следует врезал.

Если в том, что я вам только что прочел, вы способны отыскать какое-либо объяснение моему теперешнему состоянию, то дерзайте; но сам я, как и прежде, могу повторить лишь, что я потрясен, разбит, болен, весь покрыт синяками и не имею ни малейшего представления о том, что со мной произошло.

ГАЙАВАТА ФОТОГРАФИРУЕТ

Перевод Андрея Москотельникова

В нашу пору подражания нам претендовать негоже на особые заслуги при попытке несерьезной совершить простое дело. Ведь любой же стихотворец, мало-мальски с ритмом слабя, сочинит за час, за пару, вещь в простом и легком стиле, вещь в размере «Гайаваты». Говорю официально, что совсем не притязая на особое внимание к нижеследующим строкам ради звучности и ритма; но читателя прошу я: пусть оценит беспристрастно в этом малом сочиненье разработку новой темы.

Скинул сумку Гайавата,
Вынул камеру складную:
Палисандровые части,
Всюду лак и полировка.
У себя в чехле детали
Были сложены компактно,
Но вошли шарниры в гнезда,
Сочленения замкнулись;
Вышла сложная фигура —
Куб да параллелепипед
(См. Евклид, Вторая книга).
Все воздвиг он на треногу,
Сам подлез под темный полог;
Поднял руку и промолвил:
«Стойте смирно, не топчитесь!»
Колдовством процесс казался.
Все семейство по порядку
Перед камерой садилось,
Каждый с должным поворотом
И с любимым антуражем —
С остроумным антуражем.
Первым был глава, папаша;
Для него тяжелой шторой
Обернули полколонны,
Уголком и стол в картинку
Пододвинули поспешно.
Он рукой придумал левой
Ухватить какой-то свиток
И в жилет другую сунуть
На манер Наполеона;
Созерцать решил пространство
С изумлением во взоре —
Как у курицы промокшей.
Вид, конечно, был геройский,
Но совсем не вышел снимок,

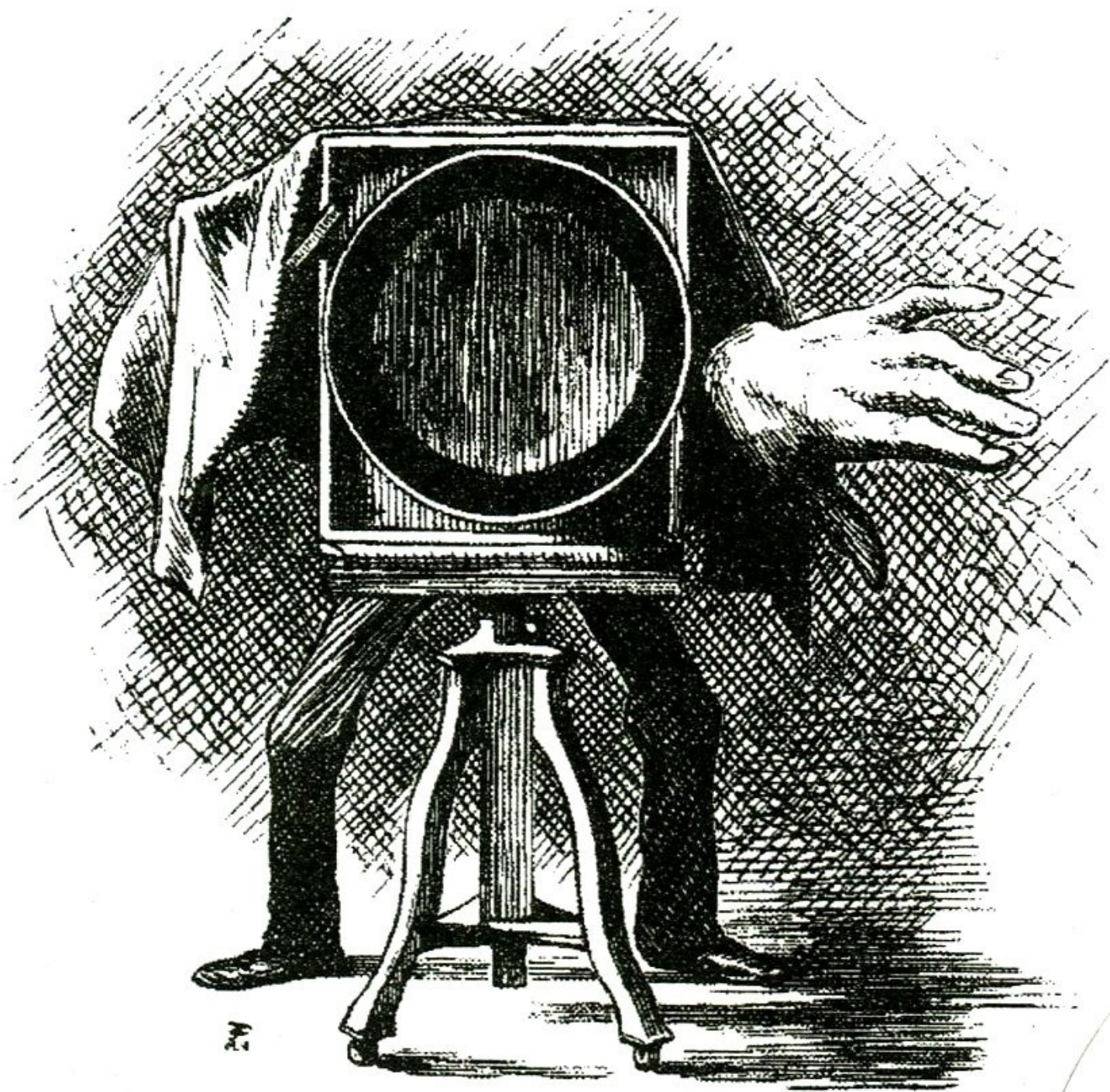
Ибо сдвинулся папаша,
Ибо выстоять не мог он.
Следом вышла и супруга,
Тоже сняться пожелала;
Разоделась свыше меры —
Вся в брильянтах и в сатине,
Что твоя императрица.
Села боком, изогнулась,
Как не каждый и сумеет;
А в руке букетик — впрочем,
На кочан похож капустный.
И пока она сидела,
Все трещала и трещала,
Как лесная обезьянка.
«Как сижу я? — вопрошала. —
Я достаточно ли в профиль?
Мне букет поднять повыше?
Попадает он в картинку?»
Словом, снимок был испорчен.
Дальше — отпрыск, студиозус:
Складки, мятости, изгибы
Пронизали всю фигуру;
Проведи по каждой взглядом —
Приведут тебя к булавке,
Сами сходятся к булавке,
К золотой булавке в центре.
(Парня Рескин надоумил,
Наш эстет, ученый автор
«Современных живописцев»
И «Столпов архитектуры».)
Но студент, как видно, слабо
Взгляды автора усвоил;
Та причина, иль другая,
Толку мало вышло — снимок
Был в конце концов загублен.
Следом — старшая дочурка;
Много требовать не стала,
Заявила лишь, что примет
Вид «невинности покорной».
В образ так она входила:
Левый глаз скосила книзу,
Правый — кверху, чуть прищуря;
Рот улыбкой растянула,
До ушей, и ноздри тоже.
«Хорошо ль?» — она спросила.
Не ответил Гайавата,
Словно вовсе не расслышал;

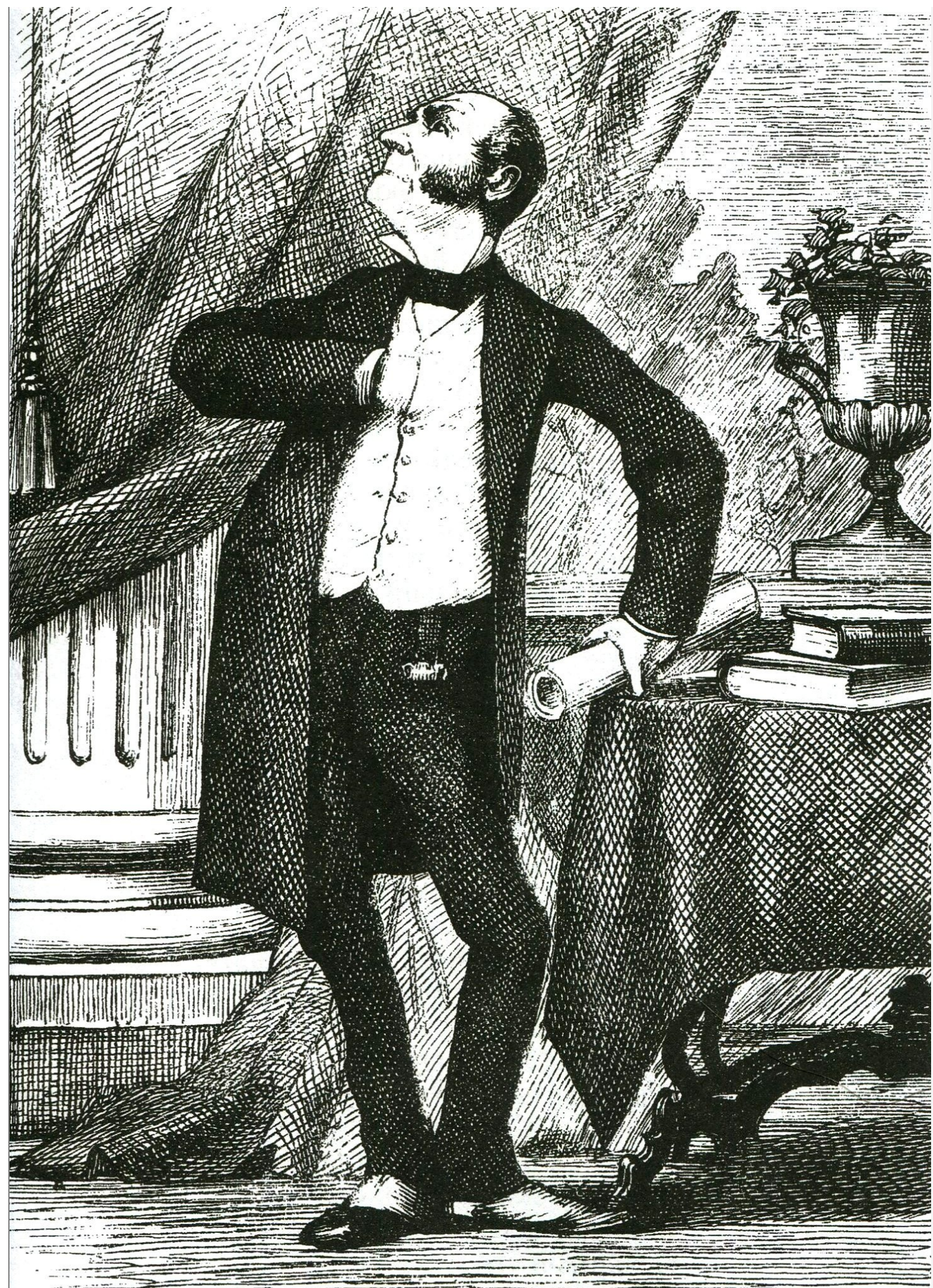
Только спрошенный вдругорядь
Как-то странно улыбнулся,
«Все одно», — сказал с натугой
И сменил предмет беседы.
Но и тут он не ошибся —
Был испорчен этот снимок.
То же — с сестрами другими.
Напоследок — младший отпрыск:
С непослушной шевелюрой,
С круглой рожцей в веснушках,
В перепачканной тужурке,
Сорванец и непоседа.
Мальша его сестрицы
Все одергивать пытались,
Звали «папенькин сыночек»,
Звали «Джеки», «мерзкий школьник»;
Столь ужасным вышел снимок,
Что в сравненье с ним другие
Показались бы кому-то
Относительной удачей.
В заключенье Гайавата
Сбить их гуртом ухитрился
(«Группировкой» и не пахло);
Улучив момент счастливый,
Скопом снять сумел все стадо —
Очень четко вышли лица,
На себя похож был каждый.
Но когда они взглянули,
Мигом гневом воспылали,
Ведь такой отвратный снимок
И в кошмаре не присниться.
«Это что еще за рожи?
Грубые, тупые рожи!
Да любой теперь нас примет
(Тот, кто близко нас не знает)
За людей пренеприятных!»
(И подумал Гайавата,
Он подумал: «Это точно!»)
Дружно с уст слетели крики,
Вопли ярости и крики,
Как собачье завыванье,
Как кошачий хор полночный.
Гайаватино терпенье,
Такт, учтивость и терпенье
Улетучились внезапно,
И счастливое семейство
Он безжалостно покинул.

Но не медленно он вышел
В молчаливом размышленьи,
В напряженном размышленьи,
Как художник, как фотограф —
Он людей покинул в спешке,
Убежал он в дикой спешке,
Заявив, что снести не в силах,
Заявив про сложный случай
В самых крепких выраженьях.
Спешно он сложил манатки,
Спешно их катил носильщик
На тележке до вокзала;
Спешно взял билет он в кассе,
Спешно он запрыгнул в поезд;
Так уехал Гайавата^[14].

ПРИЛОЖЕНИЕ

Иллюстрации Артура Б. Фроста к стихотворению «Гайавата фотографирует»





A. B. FROST.

1870



R. ROST





A. B. Frost

2/11/1917



notes

Edgar Cuthwellis — один из несостоявшихся псевдонимов Доджсона (это имя получается, если переставить буквы в имени писателя Charles Lutwidge) (Примечание переводчика).

Имеется в виду рассказ о блуждании безумной Офелии из «Гамлета» (акт 4, сцена 7), но точного цитирования Шекспира не происходит (Примечание переводчика).

времени (*лат.*).

Здесь: от ног до головы (*лат.*).

буря (*ит.*).

Гайавата – индеец, главный герой эпической поэмы классика американской литературы Генри Лонгфелло «Песнь о Гайавате», написанной на основе мифов и сказаний индейцев Северной Америки. «Песнь о Гайавате» – объект многочисленных литературных пародий. Льюис Кэрролл в стихотворении «Гайавата фотографирует» тоже пародирует стиль произведения Лонгфелло (*Примечание редактора*).

Буквально: без платья. – *Примечание переводчика.*

Время (и) сноровка (*искаженная латынь*)

Отец семейства (*лат.*)

Мать семейства (*лат.*).

Отец семейства (лат.).

Мать семейства (лат.).

Слова из английского перевода либретто Россиниевского «Отелло». Автор либретто — Франческо Сальса де Берио, автор перевода — У. Дж. Уолтер. Перевод сделан для театра города Нью-Йорка и опубликован в 1826 году. Верди напишет своего «Отелло» еще очень не скоро (*Примечание переводчика*).

Впервые стихотворение появилось в журнале «Поезд» («The Train») в декабре 1857 года. Его начальные строки навеяны покупкой Кэрроллом собственного фотоаппарата, высококачественного и дорогого, с деталями из палисандра, случившейся ранее в этом же году и ставшей для Кэрролла первым шагом на пути к настоящему мастерству в художественной фотографии (*Примечание переводчика*).